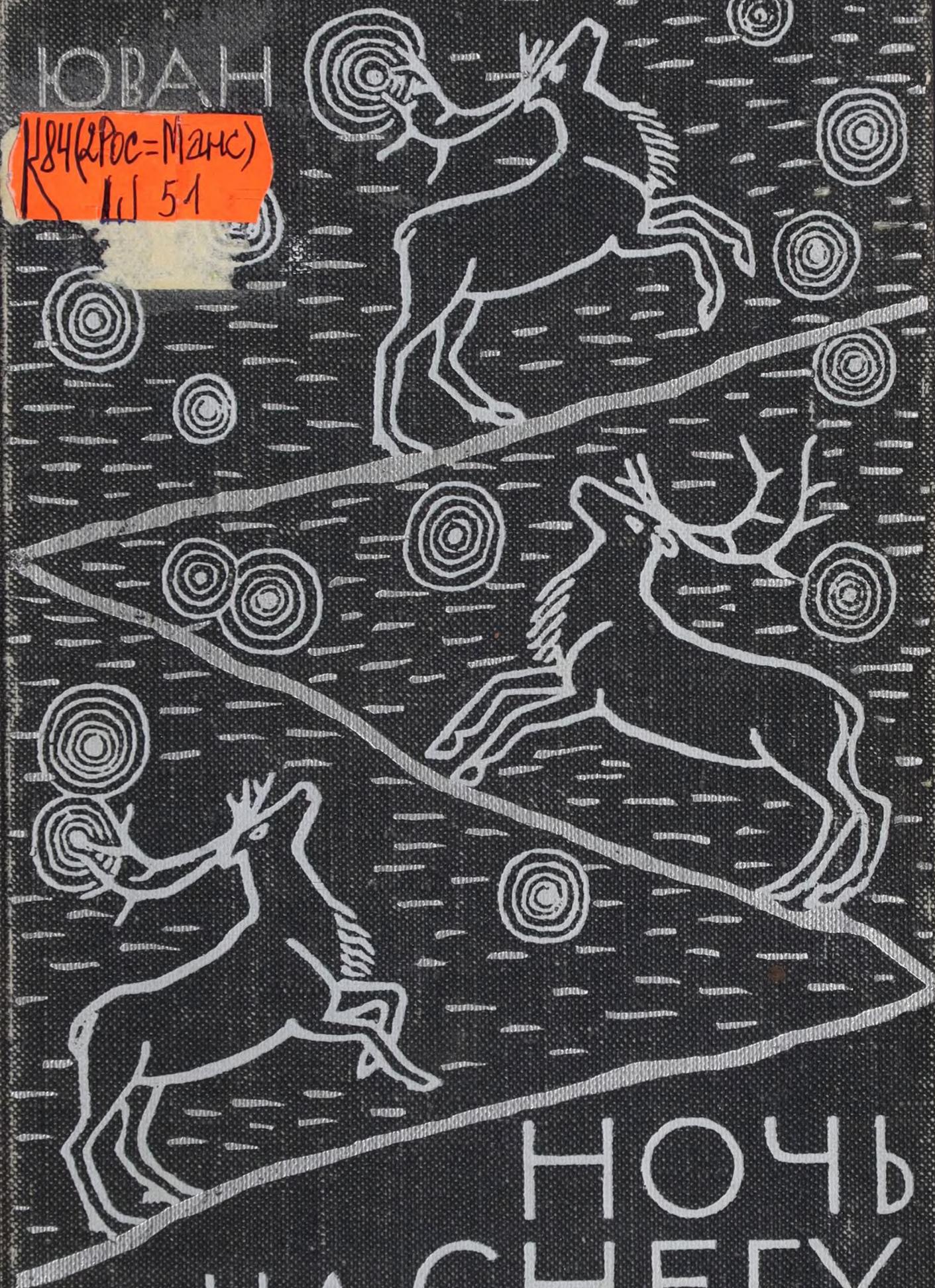


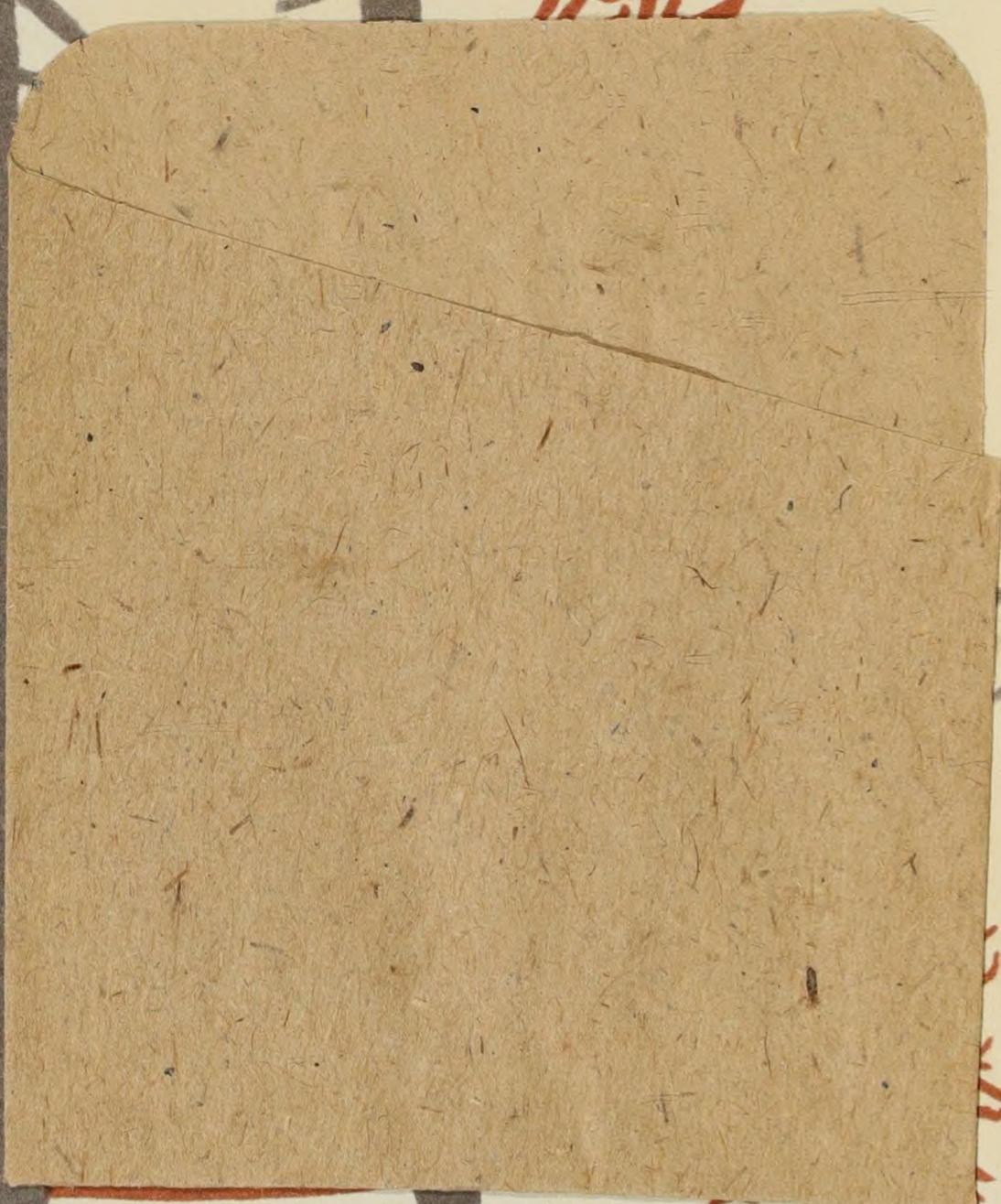
ЮВАН

184 (2Poc = Mамс)
N 51



НОЧЬ
НА СЧЕТУ

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“





1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

Ю В А Н

Н О Ч Ь
Н А С Н Е Г У

Краеведческий
П О В Е С Т Ь
Ф О Н Д

Ханты-Мансийская
обружная
Б И Б Л И О Т Е К А

Перевод
с манси
автора

ИЗДАТЕЛЬСТВО

„Детская литература“

МОСКВА 1966

11207 кр

84/2 (Рос = Манс)

К С (Манс)
Ю14

Эту повесть написал поэт. Он ведет своего читателя в долгое кочевье — кочевье по безбрежной заснеженной сибирской тайге. Острый глаз писателя видит все — и величественную красоту неподвижного леса, и красоту человеческой души.

Книга рассказывает о мужестве и силе человека. Это повесть-размышление, повесть-исповедь. Герой книги — молодой человек, едва начавший самостоятельную жизнь, — задумывается над тем, как сделать жизнь краше, лучше, интереснее. И он не только размышляет, но и сам вмешивается в жизнь.

Юван (рожд. 1937 г.) — первый профессиональный мансийский поэт и писатель. Он автор десяти поэтических книг. Стихи его издаются на родном и русском языках, известны они и зарубежному читателю.

Отзывы об этой книге просим присылать по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Оформление

М. Борисовой-Мусатовой



ТАЙГА...

Тайга... День идешь — конца не видно, год идешь — конца не видно. Только кедры стоят как замороженные, жмутся к земле карликовые сосенки, смотрят в небо лиственницы. Снег слепит глаза. Снег, снег, снег...

И словно все здесь омертвело, ничего живого нет и никогда не было, даже человека! Стоят одни деревья, да над ними небо, да вечно сияет снег. И некого спросить, и не о чем вспомнить. Снег, снег, снег...

Так ли это?

Нет! Это только кажется... Вот стоит обыкновенная лиственница, запорошенная снегом лиственница. Можно проехать мимо и ничего не заметить.

А если остановишься, пристальнее взглянешь на толстый, стройный ствол — многое узнаешь.

Все это на дереве написано. И писали не лось рогатый, и не медведь косматый, и не злобная росомаха, а человек, убивший их.

На стволе фигура зверя: голова, круглая, как луна, короткая шея, туловище и шесть ног. Это медведь. Он хозяин. И все враги удирают от него, как на шести ногах.

Над затеской пять зарубок — значит, было пять охотников. А внизу семь косых зарубок — семь собак было с ними.

А разные метки, что стоят в центре, это кáтпос — личные подписи охотников.

И можно прочесть, где убит лось, а где росомаха, где было пиршество, а где постигло людей горе...

Край наш не без истории. Только надо смотреть, только надо слушать...

Ты слышал, как шелестит кедр зелеными иголками, когда играет ветер? Ты слушал хоть раз таежную музыку? Знаешь ли что-нибудь об оленеводах?

Олень... словно дерево ветвистое растет на его голове. Глаза его смолистые, ласковые, как у доброго человека. В них нет ни высокомерия, ни лжи, ни укора. Свет их теплый и ясный. Они греют оленевода в пургу. Дают ему крылья, и он летит на своей нарте, словно вьюга.

Оленеводы бывают разные. Одни мужественные, как сказочные герои, другие трусливые, как слабые плотвички — мелкие рыбешки. Таких мало, потому что каслание — кочевье оленеводов — дорога длинная, трудная...

Я знаю: ты мечтатель!

Слушаешь ли взволнованный голос учительницы, читаешь ли книгу, летишь ли по солнечному снегу на скользящих лыжах, — я знаю, ты всегда мечтаешь о дальней дороге, чтобы узнать себя. Я был в такой дороге. Кочевал с оленеводами от Оби до Урала. Далеко от Оби до Урала: не семь раз поставишь на пути теплый чум, а больше; не семь болот надо перейти, а больше; не из семи озер придется попить воды, а больше; не семь дум передумаешь, а больше; не семь раз испытаешь себя, а больше!

Длинна эта дорога, как жизнь. Трудна эта дорога, как жизнь. Сложна эта дорога, как жизнь! Только в каслании я почувствовал, кто я такой!..

Тебя манят звезды. Далекие, таинственные звезды.

Кажется, они низко-низко ходят по синему снегу на тоненьких ногах. Сквозь длинные ресницы они пристально смотрят на тебя.

«Скоро ли к нам?» — спрашивают их светящиеся глаза.

И ты летишь... Хорошо!..

Но звезды есть и рядом с тобой. На твоей земле. И часто ты проходишь мимо, не пытаясь даже заметить. А ты можешь, можешь разгадать их тайну! Тайн еще много-много... Ну, слушай: я буду петь, рассказывать.



МОЯ ТЕТЯ

Моя тетья. Ты ее, конечно, не знаешь. Звать ее Сána. Она мне кажется странной и интересной. Я спрашиваю ее:

— Далеко ли наше стадо?

А она мне:

— Нет, совсем близко!

— А сколько километров?

— Наверное, десять.

— А сколько часов езды?

— Наверное, час.

А стадо находилось в ста километрах. И ехать надо не час и не два.

Сколько километров — ей все равно. Ей бы ехать и ехать. Только серебристые сосенки мелькают, широкоплечие кедры из-под белых шапок удивленно смотрят, любуясь ее вечным движением. И тетья,

наверное, тоже ими любит. Поет им тихо песни, здороваётся с каждым. И они её от ветра укрывают, и в огне горят — дарят ей тепло... Вечная дорога. Тётя к ней привыкла. И сколько километров — теперь ей все равно. Она жена оленевода.

Ей тридцать шесть лет. Мне скоро двадцать два. Мы родились в одной мансийской деревне. Росли в одном доме. Она качала мою берестяную люльку и рассказывала мне сказки. И я засыпал под медленные звуки древней жизни.

Вместе катались мы с высокой горы на ледяных санках. Вместе падали и смеялись, радуясь снегу, ветру и жизни...

Помню, как мы встречали весну. Я маленький, а она уже большая. Сначала солнце пригрело снег. Потом забурлила и запела вода. Посинела река. Медленно зашевелились льдины. А потом река заблестела под солнцем до самого горизонта, спокойная и нежная река. И поплыли по Сосьве калданки¹ с разноцветными веслами. И тётя Сана пела песню:

Почему летает
Острокрылый стриж?
Лодка-белогрудка,
Ты куда спешишь?
Кто там так умело
Взял весло в ладонь?

¹ К а л д а н к а — лодка, долбленная из цельного бревна.

Чья рубашка в лодке
Блещет, как огонь?
Все в хрустальных каплях
Алое весло,
И от глаз горячих
На сердце тепло.
Потому, быть может,
Сосьва так блестит
И от счастья сердце,
Словно стриж, летит.

Она радовалась жизни какой-то новой,
непонятной мне радостью. Смотрела на
птиц, что-то отсчитывала, темные глаза ее
летели вдаль. Вдруг показалась лодка. Гор-
дым гусем плыла она меж задумчивых бе-
регов сияющей реки. Я помню грустную
песню, поплывшую вслед за лодкой:

Лодка, лодка, если б ты
К берегу пристала,
Как бы радостно тогда
Сразу сердцу стало.
Я бы милого дружка
Обняла за шею,
Целовала бы его,
Как одна умею.
Пусть любовь в его глазах
Звездочкой заблещет,
Пусть и сердце у него,
Как мое, трепещет.
Только б он в мой дом вошел
С островерхой крышей,

Вместе сели бы за стол,
Рябчика не выше.
И сидели б допоздна —
Я и мой любимый...
Лодка, лодка, что же ты
Проплываешь мимо?

Лодка, как дикая птица, проплыла мимо... Зато с первым снегом прилетели олени. Я помню ночь, сверкавшую, как бусы на груди моей тети. Светила луна. Деревья спали. И никто не слышал и не видел, кроме меня, как скрипнула сонная дверь, как подбежал неслышными шагами колючий морозец, как наклонилась надо мной моя молодая тетя Сана и шептала таинственные слова: «Он меня нашел. Я его искала. Уезжаю, завтра скажешь отцу. Прости меня. Нас ждет дорога...»

На моем лице горел поцелуй. Приоткрылась дверь. В лунном свете видел я, как выходило тепло из нашего дома, как плясали морозные струи. Потом прозвенел снег. И все замерло. И мне было больно и радостно, и смеялся я, и слезы текли...

Утром долго гадали в доме, куда она делась. А я молчал, как дерево. И был горд ее доверием. Просмотрев вещи Саны, отец начал понимать.

— Кто он, наш зять? Каков собою? — спросил он.

Я сказал, что «он нашел ее», и улетели они на оленях.

Стало все ясно. Оленеводов в колхозе

не так уж много. Конечно, только самый удалой мог так ловко украсть Сану, мог увлечь сердце девушки.

Никто не шумел, никто не бранился. Времена теперь другие. Сами виноваты. Не поняли Сану.

Зима. Ночь. Сухой, приятный, пахнувший кедром морозец. Тишина. Все спит: и дома, и деревья, и снег. Даже чуткие собаки и те не заскулят, словно их нет.

Ночь. Нельзя тревожить ее волшебное спокойствие... Это понимают даже собаки. Но молодые манси и ханты с древних пор почему-то старались нарушить это спокойствие. Девушки убегали ночью из родительского дома. Их увозили на легких калданочках по сверкающей глади Сосьвы, и по бурным волнам Оби, увозили на быстрых оленях среди пляски снега.

Почему ночью? Может быть, потому, что в старину ночью не надо было платить калыма. Убежала — и все. А может, ночью просто красиво. И звезды на снегу, и даль — она зовет и манит, и люди кажутся особенными, и олени бодают небо, и звезды меж рогами пляшут, и сердце летит...

Так моя тетя стала женой оленевода — молодого ханты Микуля, так стала она вечной кочевницей.

...Вчера тетя Сана с мужем приехала из стада в деревню. С недельку они проживут в своем доме. Будут собираться в большое кочевье. А потом опять уедут на семь-восемь месяцев, будут весну, лето

и осень кочевать в предгорьях и горах Урала.

Вечером все родственники собрались вместе. У южного угла дома убили оленя для пиршества. По обычаю, на этом месте были одни мужчины. Вун-ай-йки бормотал что-то непонятное. Кружками и стаканами с наслаждением пили свежую кровь. Голову оленя сразу отдали варить. А сердце, печень и легкие, разложив на две большие тарелки, подали на стол. Там уже стояли две бутылки спирта. Они были еще не раскрыты.

У стола хлопотала тетя Сана. Она укутана от головы до пят в сиреневую шелковую шаль с переливающейся бахромой. Что было в ее глазах: светилась ли ласковая улыбка, искры злобы ли сверкали, или просто равнодушие застыло в них — никто ничего не видел. Лицо ее закрыто шалью. Особенно она сторонилась Вун-ай-ики — дяди Микуля. Он, по поверьям манси и ханты, не должен был видеть лицо невестки.

Мне было странно. Ровесницы Саны, Матра и Олёна, которые тоже должны были закрываться, сидели с открытыми белыми лицами, веселыми глазами смотрели на древних дедов, подмигивали парням, будто они лоси, играли острым словом, улыбкой убивали.

А моя тетя Сана, Вун-ай-ики, Микуль и Яныг-турпка-эква говорили тихо, почти

полушепотом. Они торжественны, движения их осторожны, а в глазах тайна.

Ловким ударом Микуль открыл бутылку спирта, стакан наполнил, сказал:

— Найт-óтрыт¹, хоть на мгновение приблизьтесь к нашему праздничному столу.

На столе стояли большие чаши. Ароматным паром дымилась голова оленя, разрубленная на куски. С одной деревянной чаши смотрели глаза рогатого, а в другой такой же лежал его язык.

Восторженные лица, плавные движения, таинственный полушепот... Кажется, стол расширился, кажется, дом расширился, кажется, весь мир огромный сегодня в этом доме. Кажется, над этим паром, что чуть не светится радугой при тусклом электричестве, вьются наши боги, в которых верит моя тетя, в которых я не верю.

Ойнга-писинга! Счастья-удачи! — звенят стаканы.

Ойнга-писинга! — пьют одни мужчины.

Ойнга-писинга! — пьют уже и женщины.

Ойнга-писинга! — и я пью вместе с ними.

Вдруг тетя Сана, словно испугнутая куропатка, сорвалась со своего места и наклонилась к Микулю:

— Ты, как эти деревенские, тоже все забыл. Надо бы сначала подняться вам на крышу и отнести шайтану, хозяину нашего

¹ Найт-óтрыт — боги, духи.

дома, дымящиеся глаза оленя да хотя бы чарочку пылающей воды. Всё забыли. Накажут за это нас шайтаны, — шептала с дрожью в голосе встревоженная тетья.

— Ойнга-писинга! Ийсынга-нотынга! Века вечные жить! Да ладно с этими шайтанами! Если шайтаны хотят быть с нами, пусть спускаются к людям, гостям всегда мы рады, стол наш для всех накрыт. А что их забыли, то забыли — не вернешь.

Ийсынга-нотынга! — звенят стаканы.

Ойнга-писинга! — хрустят кости.

Ийсынга-нотынга! — целуются женщины.

Ойнга-писинга! — вкусные глаза.

Ийсынга-нотынга! — льются песни.

Ойнга-писинга! — богов забыли.

Ийсынга-нотынга! — играет санквалтап¹.

Ойнга-писинга! — тетья поет.

Ийсынга-нотынга! — всех счастливей Олёна с Матрой.

Ойнга-писинга! — у тети на плечо сползает шаль.

Ийсынга-нотынга! — просто мы смеемся.

Ойнга-писинга! — радиола играет.

Ийсынга-нотынга! — молодежь танцует.

Ойнга-писинга! — тетья тоже танцует куриньку.

Ийсынга-нотынга! — богов забыли.

Ойнга-писинга! — мы просто живем...

¹ С а н к в а л т а п — музыкальный инструмент.

... Утром разбудил меня возбужденный голос тети:

— Эти люди совсем уж заплутались, кто это их щекочет, побуждает к дурному? Вон, глядите, Татъя верхом на коне. Женщина на чистое животное залезла. До чего дожили!..

Я посмотрел в окошко. Размахивая плетью, наклонясь вперед, как настоящий охотник, гоняющийся за лисицей по свежему первому снегу, несется верхом комсомолка Итья Татъя — конюх колхоза. Она, видимо, погнала молодых коней на водопой. Погода за ночь резко изменилась, подул север, разыгралась вьюга, и жеребята не хотят идти навстречу летящему снегу и ветру, их так и тянет назад к теплому конному двору. Но Итья Татъя (недаром зовут бесстрашной) словно летает на своем тонконогом воронке, и жеребята вынуждены ей подчиниться, они рысцой бегут к водопою.

Тетя Сана возмущалась ее поступком, жители деревни уже давно привыкли к этому. Правда, даже мне, учителю, окончившему институт в Ленинграде, сначала как-то было непривычно. Странно было видеть мансийку верхом на лошади.

И я рад за Итью Татью: она победила!

Тетя Сана, наверное, еще не знает, что ей придется жить в одном чуме с Итьей Татьей: позавчера у нас было комсомольское собрание, на котором решался вопрос, кто из комсомольцев отправится па-

стухами в оленеводческое стадо, и, к общему удивлению, первой откликнулась Итья Татья.

Из парней никто не изъявил желания стать пастухом. Пришлось обязать комсомольца Ларкина. Он недавно вернулся с армейской службы; больше толка от него будет — так решили мы.

Организатором просветительной работы решил поехать я. Надо молодежи брать в свои руки древнее наше хозяйство. Недостает людей. Одни болеют, другие показывают на белую голову: мол, и глаз не тот, и ноги не те, и хорей¹ дрожит в руках, и тынзян² летит не туда, а стадо большое, а волки злые, а дорога на Урал бесконечная, а сам Нёр, Камень-Урал, высокий. Вот и обратились колхозники к комсомолу. Мы решили. Теперь дело за общим колхозным собранием...

Мне жаль мою тетю. Живет по старым обычаям и законам. Закрывает лицо платком от родственников мужа, не поднимается на крышу дома, верхом на лошади, как Итья Татья, не проскачет, над вещами мужскими не пройдет. Она верит в Сёрнинай — золотую женщину. Лес для нее живой, населенный духами. Есть духи злые, от них зависит многое — так думает она. Но есть в лесу и добрая лесная женщина — Миснэ.

¹ Хорей — шест, которым управляют оленями.

² Тынзян — ремень, веревка из кожи для ловли оленей.

Я говорю тете, что это сказка. А она: нет, правда. Миснэ не сказка, ее много раз видели люди, много добра она им сделала, говорит тетя Сана и продолжает:

— Вот я тебе расскажу историю.

... Это было во время войны. Тогда не только хлеба было мало, но и зверей в лесу словно кто-то сглазил, и птица не шла в ловушки, и не ловилась рыба. Однажды мы весь день неводили и поймали только одну щуку да мелочь разную. Щука, правда, была крупная, но до того старая, что росла у нее борода и глаза позеленели.

11207
Уже звезды зажглись, когда мы повесили невод. Был холодный осенний вечер. Мы продрогли до звона в зубах. Развели костер. И скоро была готова уха. Поели, попили чайку. И тепло, как в летний вечер, стало. Погуляв немного, начали устраиваться спать в пологи, в шалаши из просохшего сена. В бригаде было пять женщин: мужчины на фронте. Я уже легла... Устала и от воды, леденящей руки, и от тяжелого невода. Другие еще копошились у теплого костра. Вдруг раздался чей-то крик:

«А щуки нет в лодке: кто-то утащил!»

И не слышно стало, как трещит костер, как у берега струится говорливая вода, все наши женщины заговорили, застрекотали, будто ронжи¹, когда на кедрах поспевают

¹ Р ó н ж а — птица кедровка, питающаяся орехами.

² Ночь на снегу



шишки. Самые тяжелые слова летели друг на друга. Вспомнили пороки отцов и матерей, — бабушки в гробах, наверное, перевернулись: стыдно было им и за себя, и за таких внушек. Куда тише тайга, даже когда глухари токуют, когда стонут деревья от острого клюва дятла или когда из чащи несется зычный голос филина. Ругани не было конца...

Вдруг из лесу, что темным зверем чернел на мысу реки, вышла стройная высокая женщина. Глаза ее черные-черные, лицо ее белое-белое. Одета была она в мансийскую шубу с яркими узорами и колокольчиками. Шла она по густой траве, покачивая головой, недовольная руганью. «Чего вы ссоритесь из-за какой-то одной щуки, разве она стоит ваших добрых сердец? — сказала женщина. — Вот настанет утро, если вы будете дружны и добры друг к другу, добудете много-много рыбы...»

Сказала — и растаяла в голубом лунном свете. И все вдруг поголубело — и лица женщин, и звездное небо, и лунная река.

А утром мы действительно поймали много-много рыбы: лодка была полной, даже невод пришлось оставить в воде...

Вот как бывает, зря ты говоришь, что нет на свете Миснэ. Она есть, как солнце, как лес, как ты, как я... — горячо говорила тетя, стараясь убедить меня.

Она верит, а я не верю, поэтому я не

умею так рассказывать о Миснэ. Так взволнованно, так поэтично!

... Миснэ, кто она такая? Ты, конечно, не знаешь. А знал бы, если бы скользил по склонам Камня-Урала, вросшего прямо в небо, если бы спал под снегом длинной таежной ночью, что длиннее самой плохой дороги, если бы бродил меж кедров и лиственниц, таких высоких и белых, что не проникает сквозь них зимнее золотое солнце, только лучи его скользят яркими пальцами по серебристым вершинам могучих деревьев. А под ними таинственно и тихо, не хрустнет снег, не шелохнется ветка. Лишь ели, да кедр, да небо, да снег, снег, снег без конца и края. День идешь — конца не видно, месяц идешь — конца не видно, год идешь — конца не видно...

Тебе может показаться, что в лесу совсем нет жизни. Но это не так: идешь, идешь — и вдруг с ветки сыплется серебряная радуга: то белочка щелкает кедровые орешки. Она их наносила в свое теплое гнездо еще осенью.

А что это за снежный вихрь среди безветрия, на синем морозе? Это с гулом и шумом взлетел старый глухарь. А вот здесь волк протащил свой хвост на снегу, а под этим кедром резвился соболь.

Есть жизнь в тайге.

А вечером, когда разожжешь костер на хрустящем, как сахар, снегу и посмотришь на деревья, тебе покажется, что они ожили: зашевелились ветки, от тепла костра и

тепла людского вдруг зашептали... Шепчут сказки и навевают сны. Ветки деревьев и хлопья снега укрывают снежной шубой человека. И он засыпает... Деревья своими вершинами смотрят в небо, разговаривают с ним. И на небе появляется большеглазая луна.

Она освещает голубым светом все деревья, чтобы человек даже ночью мог видеть и крадущихся волков, и злых духов великанов Менкв, и добрую лесную женщину Миснэ.

Луна сияет, стоят деревья на страже, как старые верные воины, в руках их пляшут бедки на заре, скачут горностаи, сидят очкастые глухари, и поют маленькие лесные птички.

Сияет луна, стоят деревья... А ты спишь, и ночью тебе обязательно приснится Миснэ. Еще днем, когда ты шел, ты, наверное, заметил, что недалеко от ночлега лес особенно темный и густой. Там стройные лиственницы уходят за облака, плечистые кедры обнимают землю так, что не видно неба. Там мало снега — весь он на густых ветвях. Туда не проникает веселый шалун Луи-вот-пыг — сын северного ветра. А сам дедушка северный ветер, коль дерзнет войти, сразу теряет свой холодный длинный нос. Этот дремучий лес — дом доброй лесной женщины Миснэ.

— Если бы ты все это испытал, к тебе обязательно пришла бы Миснэ, — говорит тетя, — как приходила ко мне в детстве.

Какая древняя сказка! А моя тетя Сана верит в нее. Попробуй докажи тете, что это сказка.

Но и она, смешная моя тетя, очень хочет разгадать тайну говорящих крючков и много других тайн. Однажды, по дороге в чум, под грустный скрип полозьев, она мне спела песню про жизнь, про свою мечту.

— Вот возьмешь газету, большой лист бумаги, — пела она в песне, — какие-то крючки с тобой заговорят словами такими мудрыми, и одним умом ты видишь мир, невидимый моему глазу. Для меня просто бумажка, для тебя — говорящая. Я словно немая, без глаз, а ты с четырьмя глазами. Когда ты учился, я хотела в город к тебе съездить, но как найти тебя без глаз? О, как я хотела быть такой же, как хотела учиться! — пела тетя со слезами в голосе.

И она рассказала, как за ней приезжали ласковые, настойчивые учительницы, как они беседовали с родителями, а потом увозили ее в интернат. Там она и по палочкам считала, и узнала несколько букв. Но вдруг родители тайком забрали маленькую Сану. Снова приезжали настойчивые учительницы, снова что-то доказывали, родители наконец соглашались и отдавали им дочку. Но через недельку они опять втихомолку увозили Сану.

Так повторялось несколько раз.

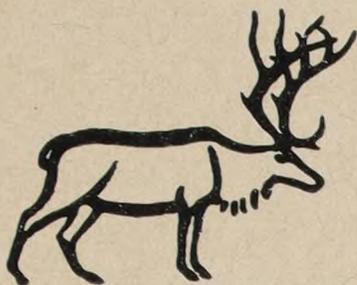
— Надо было качать, нянчить тебя, плаксивого, — кивая на меня, с нежной грустью укоряла тетя Сана. — Если бы не

ты, я, наверно, была бы тоже другой. И не разговаривала бы только с одними кедрами, не надеялась бы на одних оленей, не жила бы тогда в чуме, с тобой умела бы спорить, и других по книгам, может быть, учила, и не смотрели бы вы на меня, как лоси, свысока...

Древняя моя тетя! Как она не похожа на своих ровесниц — Матру и Олёну, и словно на целое столетие старше она Итьи Татьи и всех других девушек и женщин нашей деревни Аргин-тур — центра колхоза-миллионера.

...А удел моей тети — оленья нарта и бегущий снег, снег, снег. В руках у тети Саны хорей, а не книга. Олени бегут, бегут, бегут. Вечером она ставит чум — утром убирает его, и опять в дорогу. Олени пощипывают ягель, как тысячи лет назад. Вместе со стадом движутся древние сказки. Тетя Сана их шепчет... А я? А мы?..

Нет. Так дальше нельзя. Надо идти в оленеводство нам, комсомольцам.



ПЕРВОЕ УТРО

Светит яркое-яркое солнышко. Светит жаркое-жаркое солнышко. А я купаюсь в ледяной воде. По спине скользят холодные струи. Барахтаюсь. Теплый песочек близко-близко. Еще одно усилие — и я на берегу. Еще одно усилие — и опять со мною тепло. Я барахтаюсь... Я просыпаюсь...

Где я? Во рту ощущаю оленью шерсть — я укрыт шубой тети Саны, лежу на мягком — на оленьей шкуре. Над моей головой серый сумрак — это тоже шкура, гладкая, посеревшая от времени. Я рассматриваю ее. Она наклонно убегает от моего глаза все выше и выше... Наверху я вижу синий узор. Это на связанные черные жерди

наброшен лоскуток синего неба. Где я?
Я в чуме...

Рядом со мной кто-то похрапывает...
А, это Микуль, рядом — тетя Сана. Голо-
вы наши лежат на одной белой парке¹.
У нас одна постель. В ногах шевелится что-
то теплое. Это Пйтюх — собака моей тети.

У моих ног высится что-то темное, гор-
батое. Я вглядываюсь в серый сумрак и
смутно вспоминаю вчерашнее щедрое теп-
ло железной печки.

Вчерашний день... Он был слишком
длинным и коротким. Долго собирались,
прощались, пили спирт, пели песни, плака-
ли, целовались... Такого длинного дня и
такого короткого мгновения, полного впе-
чатлений и разнообразия чувств, я еще не
знал... Сегодня тяжело. Какая-то пустота
в душе и сердце. Кажется — все в прошлом.
Кажется — все в будущем. Сквозь связан-
ные жерди смотрят на меня бледные звез-
дочки. Греет мои ноги свернувшийся в ка-
лачик Пйтюх. Горбится посередине чума
холодная железная печь.

Зиуз, зиуз, зиуз, зиуз! — звенит в ушах,
звенит в тайге. Что это такое? Это звенят
не звезды — звезды весною тихие. Это зве-
нит не луна — она весною мягкая. Это зве-
нит морозный весенний снег: олени, на-
верное, подошли к чуму, под их копытами
поет снег. Это новая для меня песня. Дол-

¹ П а р к а — верхняя меховая одежда.

го ли придется мне ее слушать? Полгода, восемь месяцев... Каждое утро по спине будут скользить холодные струи, сниться жаркое солнышко, теплая постель... Каждое утро будут глядеть на меня звезды, будет звенеть за чумом снег, и этот однообразный скрип будет навевать раздумья... Мне холодно и одиноко. Не вернуться ли сегодня, пока не поздно, назад, не заняться ли привычным делом?

Легкий озноб прошел по спине, побежал к ногам, потом вернулся и остановился где-то около сердца. Холодно-холодно стало. Я натянул на голову шубу, стараясь надышать теплого воздуха. В это время Питюх отодвинулся от моих ног, и стало еще холоднее. Шуба была теплой. Но она не прилегала плотно к спине. Вздучалась. Из-под еловых веток, под которыми царствовал снег, ползли струи холода. Невидимые, они подбирались к ногам, к спине и сердцу... Я приподнял голову. Стало светлее. Вон я уже вижу потертую шубу Окры. Под ней спят, наверное, Окра и Ай-от. Рядом с ними ночная люлька. В ней спит их сынишка Мánь-пыг. Где-то среди шкур должна быть и дочка Мánь-аги, что постарше года на два. Подальше еще кто-то спит прямо на малице¹. Это, наверное, Ларкин. Вчера было жарко от железной печки и он приговаривал: «Я все кочевье буду спать на малице, а не в малице. Все говорят, что

¹ М á л и ц а — меховая рубашка с капюшоном.

чум холодный. А здесь жара... Испечься можно...»

Ларкину, может быть, и жарко, а мне холодновато. Я отыскал свои белые кисы¹, подаренные тетей. Они теплые-теплые. В любой мороз ноги как в печке. А сейчас натянул одну — ледяная-ледяная, натянул другую — такая же. В снежной яме спал — там теплей было. Может, не надо было раздеваться. Но если все время одетым спать, то тело не подышит, не отдохнет как следует. А может быть, этот холод — только сон? Ведь остальные спят спокойно: и дети и взрослые. Даже не шелохнутся, как листья, когда нет ветра. А может, это просто с непривычки? Ладно, поживем — увидим!..

Меня удивил сонный чум. Еще два десятилетия назад в центре пылал костер, дым которого выходит прямо в отверстие. В некоторых чумах до сих пор царствует костер...

Чум спит. Люди спят. Их головы лежат словно по окружности. А сами они, будто радиусы, тянущиеся от окружности к центру. У всех ноги сходятся у печки, у центра. Удивительно, ни один не лег головой к печи. Даже я и то почему-то лег, как все. Странная геометричность спящего чума немного отвлекла меня, и я забыл про холод. К тому же я ведь не ледяная сосулька — ноги отогрели теплую шерсть кисов,

¹ К и с ы — меховая обувь.

стала отогреваться и шуба. И я задумался о другом. Вот рядом лежат люди, которые, может быть, каждое утро испытывают эти же ощущения и не замечают их. И не философствуют. А я почему-то философствую и возмущаюсь. А они нет. Разве они не люди? Нет, они такие же, как я, как и все. Мечтают, ненавидят, радуются, плачут, поют песни, любят, страдают, восторгаются... Я пришел к ним не с Луны и даже не из Америки. Во мне течет та же кровь, что у них. Мой детский язык впервые пролепетал те же слова, что и они произнесли впервые. На одном языке нам пели песни наши матери. Мы люди одного племени. Так почему меня возмущает этот чум, этот холод, это неуютное промозглое утро?..

Бег моих хмурых мыслей прервал внезапный плач ребенка. Серая шуба с потертым орнаментом зашевелилась, и вынырнула лохматая голова Окры. Она наклонилась к ребенку. Но голос самого маленького человека уже возвестил всем остальным обитателям чума наступление нового дня.

— О, долго спали сегодня, — поднимаясь из постели, громко произнес Микуль. — Белый день уже в чуме. А ты уже оделся? Совсем как оленевод. Что ж ты нас не разбудил? Или хотел один погнать оленье стадо на Урал? Ничего не выйдет! У нас вон есть маленький вещун, он о любой опасности предупредит, — отстукивал слова Микуль. — Да, я совсем забыл. Ты

ведь не оленевод, а учитель. Понятно. Ты как наставник решил показать ученикам пример. Хорошо!..

Я, убитый холодом, хмурым видом чума и своими ненастными мыслями, молчал. В эту минуту я, наверное, был смешон..

Между тем все встали: Итья Татъя, и тетя Сана, и Ай-от... Тетя Сана копошилась у печки. Вот она берет сухие, приготовленные еще с вечера лучины. Чирк спичкой — и вспышка падающей звезды в руках у тети. Мгновение — и она держит луч солнца. Еще мгновение — трещит железная печь, через щели дверцы летят искры, и уже струится мягкое нежное тепло, без которого чум будто холодное подземное царство. И совсем другой покажется жизнь, когда пред тобой возникает, как в сказке, столик.

На столике железная зеленая чашка. В ней нарезанный хлеб, сухарики, печенье. А у столика уже улыбается Мань-аги. Глаза ее синие, как солнечное небо, тоже улыбаются. Косички ее до пояса, с кольцами, с блестящими железками, сплетенные шерстью в две веревки, прыгают, звенят. Видно, что-то вкусненькое ждет.

Мань-аги — маленькая девочка; почему так ласково все тебя зовут? Может быть, потому, что только ты проснулась — не стал я видеть чума холодного, забыл свои мысли хмурые. Ты лепечешь и играешь — сердца у всех теплеют, ты лепечешь и играешь — жизнь звенит в чуме!

Мань-аги улыбается: видно, что-то вкусненькое ждет. На той стороне чума, куда печь смотрит железной решетчатой дверцей, зашевелилась шкура: в чум вошел Ай-от. Он что-то несет. Вот он садится к столику, скрестив пред собою ноги. Берет охотничий нож, и на стол ложится тоненькими стружками вкусная-превкусная, мерзлая-премерзлая печень оленя.

Самая тоненькая стружка уже в руках у девочки. Самая тоненькая стружка уже купается в соли, насыпанной на стол. Самая тоненькая стружка тает на губах... Темно-красные стружки печени пляшут в руках и у Ай-ота и у Окры...

Мне тоже захотелось вкусной мерзлой печени... А вот и тетя Сана. Она несет в руках то, что мне сейчас увиделось, что вдруг я захотел. Микуль, я и тетя садимся за свой столик, Микуль приглашает за стол Итью Татьяю и Ларкина. Оба они какие-то хмурые, не похожие на себя. Наверное, они так же, как и я, приуныли. И все утро, наверное, думали длинные думы. Может быть, и они уже сожалеют, что сменили привычную, уютную жизнь в деревне на холодный чум?

Но стружки темно-красной печени тают на языке. Кажется, просыпается в теле каждая жилка — так вкусно! И всякие мысли — и летающие на легких крыльях, и бредущие тяжелыми шагами — исчезают как тени. И этот низенький столик кажется самым богатым: ведь на нем сегодня лакомство

богов. У жителей деревни — у рыбаков и охотников, трактористов и доярок — такой стол бывает не каждый день. А у оленеводов — другое дело. С ними олени... Глаза у Ларкина стали острыми, веселыми. Ожила, словно рыбка в воде, Итья Татьяна. Потеплел и я. Стал уютным чум. Мы уже просто наслаждались! Печени одного оленя нам не хватило. Тетя Сана принесла еще кусок. Потом долго тянули чай из блюдец, круглых как луна. Один чайник выпили — не хватило. Тетя Сана поставила второй. Огонь пылал и трещал, кажется, еще задорнее, словно он стремился быстрее вскипятить чай и утолить нашу жажду. Мы снова пьем крепкий и пахучий напиток, вкуснее которого никогда я не пил.

Говорим ли мы? Наверное, говорим... Говорит чай, говорим и мы... О чем поют звуки, слетающие с уст, вплетающиеся в пар над блюдцами? Они поют, наверное, о сегодняшнем дне, об оленях... О чем же еще говорить оленеводу?

Вот какое ты, первое утро нашего большого кочевья! Ты нашептало мне многое-многое. Я даже не в силах сразу разобраться. Сначала мне все показалось холодным, странным, диким, словно я из другого мира... А потом все вдруг потеплело, стало близким и даже в чем-то родным. Кажется, дышал я тысячу лет этой жизнью, кажется, и совсем не жил я. И не хочется видеть всего этого, как в детстве не хотелось ви-

деть волка, и хочется, как во сне, очень хочется. Так что же это такое? Как объяснила бы тетя Сана? Может, Тánварпеква — старуха, делающая нитки из мальчишечьих жил, ночью нащекотала мне дурные мысли, а потом Миснэ нашептала добрые сказки? И потому чувствую себя так, как будто текут во мне две бурные речки. Но ведь древним сказкам я уже не верю. Не знаю, что это такое. Только это было не в сказке, и не век тому назад — это было во мне, и в первое утро нашего каслания.



ПОЛЕТ ОЛЕНЕЙ

Нет весны ослепительней, чем северная весна! Солнце светит с сосен, с белых шапок кедров, каждая снежинка ярче солнца светит, ослепляет радугой: глаза мои слезятся... Под ярким взглядом солнца стал мягким-мягким снег, но не хрустит уже, но не звенит уже под копытами оленей, как утром, когда было небо темно-синим...

Не успел я пощупать снег руками, не разглядел как следует поляну, над которой наш чум выдыхал голубой дымок, а олени были уже запряжены. Микуль берет хорей — шест тонкий, сияющий, и мы садимся в нарту. Впереди Микуль, а я за него держусь. Рванулись олени от страстной пляски хорея, и мы помчались.

это таяли пушинки снега. Тоненькие ручейки бежали по щеке, сползали к подбородку, подбирались к горлу. Вот один ручеек, наверное самый юркий, проник за теплый воротник и щекочет, щекочет, стараясь согнать с меня безразличие.

Тишина растаяла, как тает облако в сини неба, и я уже слышал, как где-то вдали скрипят полозья и стучат копыта... Это Микуль возвращался за мной. Он загадочно улыбался. «Ну как, понравился полет на оленях? Что ж ты не встаешь? Или ушибся? Ничего, с нами бывает не такое. Все впереди, на Урале. Еще не такие там будут полеты. Нам, может быть, завидует сам Гагарин: мы по обыкновенной земле летаем, по синим горам летаем. Летаем не два-три дня среди безмолвия и тишины, летаем восемь месяцев, летаем круглый год. Тебе надо научиться самому управлять оленями. Кто держит хорей в своих руках, кто сам управляет — ни при какой скорости не свалится с летящей нарты, с летящей жизни!»

Не знаю, кто это говорил. Говорил ли Микуль, подъехавший ко мне, говорили ли струйки, скользящие по лицу, говорило ли мое сердце?

Я встал, отряхнулся. Микуль дал мне в руки хорей и тынзян. Я, конечно, не умел еще легким и чутким вздрагиванием тынзяна вовремя подсказывать, в каком направлении двигаться оленям, но уже умел заставить хорей плясать по их спинам и

задним ногам. Странное дело, управлять тонко и умело животными мы не умеем, а бить умеет каждый, бить даже самого близкого, бить оленя, который возит человека, кормит его и одевает. Хорошие мысли ходили в голове, но, подгоняя оленей хореем, просто-напросто их бил: надо было догнать остальных да и показать, что я умею быстро ездить... Странно, из-за этого «показать» мы часто делаем такое!..

Если бы олень умел говорить, он бы побил меня словами, наверное, большее, чем я его бью хореем. Интересно, а не жалко ли бывает Микулю оленей? Не думает ли он, что и им больно? Не успел я и подумать, как он меня упрекнул:

— Ты бьешь оленей. Хорей не палка. Это язык оленевода. Оленевод подумает. Передаст мысли хореем. Хорей коснется оленя, и тот уже знает, что хочет человек. Олень все понимает... Особенно вожак! С хорошим вожаком не пропадешь ни в пургу, ни в мороз.

Нам надо было ехать быстро. А нарты тащились еле-еле. Другие уже, наверное, на месте. И солнце уже склоняется к верховью речки¹. А дел еще много: часть стада, состоящую из важенков и годовалых оленят, надо было перегнать на новое пастбище по направлению к Уралу, к летним пастбищам колхоза.

Микуль попросил остановить оленей.

¹ Солнце склонялось к обеду.

Я потянул к себе веревку — вожак остановился. Микуль опять взял свой хорей и сел на свое место, а я снова поместился позади. И, как бы в утешение, он сказал:

— Учителю не обязательно уметь управлять оленями. Это уж наше дело. Ну, а если хочешь, то научим со временем. Какой ты манси, если не умеешь ездить на оленях!

Дернулась веревка, подпрыгнул хорей, и нарта полетела, полетела не как дикая разъяренная вьюга, а со скоростью спокойного, крепкого ветра.

Хорошо ехать на оленях! Лучше, чем на тракторе. Не пропахнешь бензином, не застрянешь в сугробе. В любую погоду олешки крылатые не подведут... Трактор хороший, очень нужный людям. На нем возят и сено, и дрова, и лес, и пашут целину... Трактор сильный — не сравнишь его с оленем. Но на нем охотиться не поедешь. Не пролетишь в соседнюю деревню за одно мгновение. И не станешь есть железо — мясо трактора. Олень на Севере нужен, как и трактор. А вот некоторые этого не понимают...

Дети рыбаков и охотников — мои ученики — все хотят стать трактористами. Это хорошо! И хотят стать космонавтами, капитанами, учеными, врачами, учителями, рыбаками и охотниками. Это хорошо!

Только никто почему-то не хочет быть оленеводом. А все любят нежное оленьё мясо, при виде мерзлой сырой печени

у всех слюнки текут. Почему у них текут слюнки и почему не хотят быть оленеводами?

Может, в этом виноват и я? Виновны и все учителя: нет внимания к древним профессиям.

... А вот и сами красавцы. Они, как легкие сны, подумаешь — приснятся, подумаешь — появятся. О, сколько их — безрогих, и белых, как снег, и серых, как мох, и пятнистых, как тундра... Снежной лавиной спускаются они с лесистого холма в долину речки.

Милые олешки, вас любят воспевать в стихах поэты, скульпторы возносят вас на пьедестал — и вы красуетесь на площадях больших городов. А вот тех, голос которых эхо носит по тайге, тысячи раз повторяя звонкое «-о-о-о-о-о-оооо», тех, кто пасет вас, милые олешки, защищая от волков, перегоняя на богатые вкусным ягелем пастбища, мы не совсем понимаем... И, может быть, в один из дней вы окажетесь без пастухов: стариков уже не будет, а молодые не захотят возиться с вами — поинтереснее вас в мире есть дела!..



НОЧЬ НА СНЕГУ

К вечеру, когда небо стало как разорванная шкура медведя, наш караван наконец остановился. Было необычно тепло. Снег был мягким-мягким, казалось, даже вечером, без ласковых рук солнца, продолжал таять. Но это, наверное, только казалось. К утру снег даже в любую теплую ночь покрывается хрустящей корочкой.

— Тепло! — поглядывая на небо, сказал чем-то встревоженный Микуль. — Не пошел бы дождь, а то не успеем перевести стадо через большое болото. Беда будет. Разольется болото, скользнуть будут олени. Да и здесь маловато корма для оленей. Надо спешить!.. Может, обойдемся сегодня без чума?

— А дети не замерзнут? Ведь хотя и весной пахнет, а еще снег толстый и холодный, — проговорил я, вспомнив прошлую ночь, когда чудилось, что звезды позванивают, как холодные льдинки под копытами оленей.

— Дети-то не замерзнут: они не впервые по этой дороге едут. Не такое видели. А вот ты...

Мне было обидно, что меня считают слабее детей. С чего это взяли? Я ведь тоже северянин, а не какая-нибудь там ворона, улетающая в теплую зиму от сурового северного ветра. А может, слабыми, невыносливыми считают всех грамотных? Миккуль смотрел на меня не то жалостливо, не то вопросительно.

— Если детям хорошо будет спать под открытым небом, то мне тем более, — сказал я ему.

Уже горел костер. Белый конь облизывал черного: в пламени висел большой медный котел. «Наконец-то горячее! — подумалось мне. — А то одно сырое мясо с мерзлым хлебом. Надоело».

Самый маленький человек, Мань-пыг, улыбался огню. Тянул к нему ручки. Мань-аги подносила к костру сухие еловые веточки. Они загорались ярким пламенем, трещали, как стрекозы в жаркий день. Мань-аги смотрела и слушала, как яркие языки огня превращали в летящие звезды и в пламенеющий уголь ее веточки. Она, наверное, очень радовалась, что наконец-то

не надо сидеть спокойно в нартах, можно бегать, как олененку, играть с любимой маленькой собачкой Хулах и даже подбрасывать ветки огню. А девятилетний Епа уже строил себе из снега и еловых веток маленький чум для ночлега, приговаривая: «Вот увидите, замерзнете, коль не захотели ставить чум. А я не замерзну!»

Рядом с котлом пыхтел огромный чайник. Когда пыхтит чайник — люди веселее: без чая какая сила!

Микуль, Ай-от, Вун-ай-ики, Силька еще возились с оленями. Тетя Сана, Окра, Яныгтурпка-эква копошились у своих нарт. Они приготавливались к ужину и ночлегу. Только Итья Татья, Ларкин и я вместе с ребятами сидели у костра. Почему-то мы молчали. Может быть, эта дорога нас всех заставляет думать, рождает невеселые мысли? Но почему я думаю, что у других должны быть тоже невеселые мысли? Итья Татья не кажется подавленной. Она, может быть, молчит оттого, что ей нравится этот теплый вечер, этот костер на снегу.

Итья Татья... Она склонилась над костром, большой деревянной ложкой убирает пену с варева. Я говорю ей:

— Ты ведь так уберешь весь жир.

— Я убираю не жир, а плохую пену, которая всплывает раньше жира.

Смуглое лицо ее, освещенное яркими языками огня, кажется румянее и белее. А большие раскосые глаза черные-черные,

как дужка котла, живые и глубокие. В них отражается, как в зеркале, пламя костра. А может, это ее собственное пламя? И оно сильнее огня этого костра?

Ларкин мой ровесник. Но сегодня он выглядел старше. Тонкий длинный нос, кажется, стал еще длиннее. На покато и узком лбу сплелись чуть заметные морщинки. Подперев правой рукой щеку, он как-то безразлично глядел на пляшущие языки огня. Глаза его напомнили мне взгляд усталого оленя.

Ларкина я знаю с детства. Вместе росли, в одном классе учились, играли, иногда ссорились. И, как маленькие собачата, только что подравшиеся друг с другом, опять играли, бегали, веселились. Мне он тогда нравился: глаза его были такие острые — кажется, летят на тебя маленькие невидимые стрелы, вот-вот уколут. Мы вооружались еловыми шишками, тонкими прутьями и нападали на укрепления «фашистов». Мы скакали верхом на лошадях: на тоненьких прутьях, увидев «укрепления врага» из досок или подгнивших лодок, громили их. На них летели шершавые еловые шишки. Когда «противник» отступал, мы разрушали до основания его укрепления.

А как мы ходили на охоту и рыбалку! Это не расскажешь в сказке, выдашь за быль — не поверят.

Потом наши пути разошлись. В каком-то классе Ларкин отстал, рыбачил, служил

в армии. Как одного из самых выносливых, повидавших жизнь, привыкших к трудностям, комсомольская организация направила его в оленеводство. И вот он сидит у костра, взглядом усталого оленя смотрит на пляску огня...

Постепенно все собрались. С удовольствием чихнув два раза после очередной дозы терпкого табака, Микуль бодро пробасил:

— Ну как, маленькие люди, сердца ваши у костра стучат?

— Скоро наши сердца достучатся до того, что растают, как снег под костром, — неожиданно выпалил Ларкин. — Едешь едешь и не видишь ни конца ни края. Сколько дней уже мы в пути — а что видели? Один костер да иногда чум. Когда будет конец?

— Конец будет, когда умрем.

— Ну, бригадир, мы умирать не собираемся!

— Тогда живи! Кто тебе запрещает? Ты дышишь — значит, душа твоя с тобой.

— Но так жить я не хочу! Дорога, костер, опять дорога. В армии хоть знаешь: пройдут учения, опять начинается нормальная армейская жизнь с увольнениями, с книгами, кино, радио, телевидением. А тут не видишь просвета.

— Я не служил, не знаю, как там у вас. А у нас, оленеводов, своя армия: тысяча двести оленей — солдаты, а мы с тобой — генералы, — говорил, чихая, Микуль.

Был он важный, как олень-хар. Смотрел на нас снисходительно: мол, вот какая нынче молодежь пошла.

— У костра, на снегу, как на пляже под солнцем! — с улыбкой кинула Итья Татъя. (Значит, она ждала удобного случая вступить в разговор.)

Что такое пляж, Микуль, конечно, не понял, но он не стал показывать, что не знает этого слова, а с тем же важным видом продолжал:

— Вы говорите «у костра, на снегу». Вам не нравится костер? Тининг мань ма-хум! Дорогие маленькие люди! — продолжал он, — если бы не было этого огня, старики такие, — он кивнул в сторону Вун-ай-ики, — до седых волос по земле, по лесу и не ходили бы. Наши олешки одичали бы, как звери. Может быть, только оттого в наших душах сила, что выросли мы у такого костра: он топит снег и растит сердца!

Не понять мне Микуля. Он то поддерживает нас, молодых, то старое. Учился в школе, а нюхает табак. Я спрашиваю, почему он любит эту гадость.

— Чтобы чихать. Чем-то надо заниматься олневоду в свободное время. Ты читаешь книги, а я чихаю.

Не понять Микуля.

— Я ж не о костре, а вообще об условиях, о дороге, — говорил с раздражением Ларкин.

— Дорога... Хорошему оленю большая

дорога не страшна, а плохому и маленькая тяжела. А ты, Ларкин, хотя и новичок, но я бы не сказал, что ты слабый: ты ведь наравне со всеми обходишь следы с утра до ночи — и не видно твоей усталости. Будет из тебя настоящий оленевод! — сменив важный, снисходительный тон на внимательный, серьезный, заключил Микуль, принимаясь за дымящийся паром кусок мяса.

Перед нами тоже стояла большая эмалированная чашка. Итья Татъя, Ларкин, Микуль, тетя Сана и я образовали свой полукруг на левой стороне костра. Мы всегда ели вместе. Нашей хозяйкой была тетя Сана... Я взял большой кусок с мозговой костью. Когда-то я очень любил такую кость с чуть-чуть жестковатым недоваренным мясом. Переваренное мясо соскальзывает с кости. Это не вкусно.

Трещит костер. На его противоположной стороне под ударами тяжелого ножа Вун-ай-ики трещит большая мозговая кость. Вот уже она разбита, и по седым редким усикам, напоминающим сухой ягель, текут жирные капли...

— Аен, аен, Епа (пей, пей, Епа), мозг оленя, — приговаривал Вун-ай-ики, обращаясь к внуку и наблюдая, как тот с аппетитом сосет кость. — От оленьего мозга умнее будешь!..

Во мне что-то шевельнулось. Я не мог больше есть. Тетя Сана посмотрела на меня, как важенка на только что родившегося олененка.

— Ты что, заболел? — спросила она участливо. — А может, дать тебе русской еды?

Не дождавшись ответа, она встала и принесла из нарты холодную блестящую баночку с надписью «Котлеты». Я открыл баночку складным ножом. Ко мне присоединился Ларкин, не удержалась и Итья Татья. Нам не хватило и трех банок...

— Если вы будете опустошать банки с такой быстротой, то русской еды не хватит вам и на неделю! — проговорил молчавший до этого Микуль.

«Вот если бы была база, где можно было приобрести свежие продукты. Ну хотя бы на середине пути, — вдруг подумалось мне. — Совсем хорошо было бы...»

Потом мы долго с наслаждением пили густой, темно-коричневый напиток, настоянный на чаге. От него стало теплее, чем от костра. Теперь глаза говорили на самом веселом в мире языке. Но разговаривать некогда: завтра снова дальний путь. Поэтому надо спать. Все стали устраиваться на ночлег. Маленький Епа уже потащил в свой небольшой чум шкуру оленя. До того был «велик» чум, что часть шкуры торчала на улице. Но Епа не огорчался. Он сегодня самый умный и заботливый оленевод: ни у кого нет чума, а у него есть. Да еще какой! Не куропачий чум, а конусообразный. Куропачий чум делается из одного снега. А Епа срубил колья. Связал их наверху тынзяном, как шести над на-

стоящим чумом. Покрыв еловыми ветками и снегом. Получился настоящий, смотрящий в небо чум. Епа, довольный своей работой, был веселее осеннего сытого оленя. Раньше других он устроился на ночлег.

Рядом с «чумом» копошились Вун-айки и его старуха. Тоже готовились ложиться спать. Только просто под открытым небом.

Ночь... Небо оделось в торумсов — в яркую небесную одежду. Там бредут сияющие звери — уй. Это звезды. Они движутся медленно-медленно, словно сонные, навевая людям яркие сны... Их, наверное, уже видит Микуль: он храпит на всю тайгу. Даже звезды, наверное, его слышат. А он себя не слышит... Устал. Целый день на лыжах...

Рядом со мной лежит Ларкин. Под нами оленья шкура, под шкурой — снег. Под головой парка с мягким-мягким мехом. Легли мы не раздеваясь: в малицах и кисах. Единственное покрывало наше — узорчатое небо.

Лес стал голубой, лунный. Далеко-далеко звенят ветви деревьев. Звон все ближе, ближе... Это поет, наверное, снег под копытами. Олени рядом. Звон все ближе, ближе... А может быть, это острый луч луны. Он, синяя, скользит через сугробы. Все ближе и ближе подбирается ко мне. Я вижу его уже рядом. Я чувствую его прикосновение. Чудится: этот луч стремится проникнуть в мое сердце и ледяным

цветком прорасти в нем!.. Я уже мерзну...
Переворачиваюсь с боку на бок.

А под голубеющей елью, дальше всех от костра, спокойным и глубоким сном спит семья Ай-ота. Посредине Мань-пыг и Мань-аги. По краям отец с матерью. Берестяная люлька Мань-пыга завернута в сахи¹. Но лицо его открыто, как и лицо сестренки, матери, отца. Над ними тоже скользят синие лучи луны. Но они спят спокойно, как будто нет мороза, как будто это все обыкновенно...

Я мерзну... Подхожу к еле тлеющему костру. Подкладываю дрова. Чувствую на себе чей-то взгляд. Это смотрит на меня не холодная луна, а проснувшаяся Татья.

— Не спится? — тише лунной ночи спрашивает она.

— Холодно! — отвечаю я.

Она молча встает. Берет дрова. И на расстоянии трех метров от костра разжигает другой. Сухие, смолистые ветки быстро загораются ярким пламенем. На снегу появляется новое светило. Может, даже звезды завидуют его яркости и теплу. Костер сильнее звезд, костер нужнее людям. Солнце и то уступает костру: золотые языки огня не только греют в любую погоду, но и делают вкусной пищу, кипятят лучший на земле напиток — терпкий и душистый чай.

¹ С а х и — расшитая орнаментом из разноцветной кожи меховая шуба.

Я не понимаю, зачем разожгла Татьяна второй костер. С недоумением гляжу на нее. Она молчит. Берет шкуру, на которой спала, и стелет ее между кострами. Из нарты несет другую, свернутую, шкуру. Теперь я догадываюсь: эту положит она под голову. И правда: постель готова.

— Ложитесь, — почему-то говорит она официальным тоном.

Может быть, это потому, что ночь? Обычно озорная и веселая, Татьяна сейчас кажется суровой. Не дожидаясь ответа, она опять идет к нартам, несет еще одну шкуру. Тоже стелет ее между кострами. И, положив в огонь по два толстых бревна, молча ложится. Ложусь и я. Наши головы лежат на одной постели, а ноги врозь. Я и не думал, что между кострами так тепло, хоть раздевайся. Не догадался бы я никогда, что между двумя огнями можно спать.

— Кто тебя научил такой мудрости? — спрашиваю не громче потрескивания дров.

Головы наши рядом — зачем ночью разговаривать громко?

— Это не мудрость! Все так делают, когда очень холодно. Так еще, наверное, делали и наши деды.

— А ведь все же опасно спать между двумя огнями.

— Зато тепло! Бояться будешь — от одного страха превратишься в ледяную сосульку.

— Огонь не спросит, боишься или нет,

протянет длинный язык и запылаешь, как сухой мох.

— Когда стоит лунный мороз, искры летят к звездам — не сгоришь.

Правда, языки огня тянулись к небу, и искры не летели в стороны, как в ветреный или пасмурный день. И дым костров прямым столбом уходил ввысь, словно стояли две высокие стройные девушки, с золотыми теплыми ногами, с тонкими талиями и с платками звездно-узорчатыми на голове. Я почему-то думал об Итье Татьяе. Хотелось коснуться ее руки... Тепло, когда рядом люди...

— Что за красивая ночь!

И мне кажется, что это говорит не Татьяна, а мое сердце. И кажется, нет на земле мороза. И никто не мерзнет: ни седой, как старик Урал, Вун-ай-ики, ни бригадир Микуль, ни пастух Силька, ни даже самый маленький мужчина Мань-пыг. Разве можно мерзнуть, видя эту дивную красоту? Ели под лунным светом присмирели. Рядом с ними лежат на снегу длинные тени. Они будто живые, даже дышат. Нет, это дышат не они, а олени. Я вижу, как играет луна синими лучами у их ноздрей. Олени не боятся мороза. Они любят красоту.

Олени! Да что олени! А те, кто спит на снегу, под елью, вдали от костра, лицом, обращенным к небу, к морозу, кто они такие? Каким словом их назвать?

Мне стыдно за себя: я чувствовал только холод, только трудности, а красоту не

заметил, пока не подсказали другие... Среди каких людей, оказывается, живу! Какую красоту приходится видеть!

А я вспомнил старую, глупую сказку... Замечтался о базах, о домах на пути оленеводов, о свежих продуктах, о тракторах. Тогда, быть может, исчезнет эта красота! Какая красота на земле без костров, без снов на снегу, без сказочно-холодной лунной ночи!.. Согретый теплом костров и баюкающей красотой ночи, я уснул...

И, став чище телом и душой, опять я шел вперед. Опять костры сияли. Бодали небо олени. И сказка не кончалась.



ХОРОШЕЕ ВОЛНЕНИЕ

Вот бывает же так: уснешь радостный, довольный собой и другими, а проснешься — словно камень в груди. Все кажется холодным, серым, чужим... Даже если весеннее солнышко играет на верхушках елей; даже если Епа смеется, как чайка над Обью, когда рыбы пляшут в струях; даже если олени ластятся к тебе и дарят самый добрый в мире взгляд. А тебе все равно, как будто кто-то навалился на тебя и давит, давит...

— Эх, вы! Отчего вы такие дохлые?! Как рыбы, вытащенные из воды! — укоризненно бросает нам с Ларкиным Итья Татья. В глазах ее не то жалость, не то презрение. — А еще комсомольцы!..

Над утренней тайгою эхо носит звонкое: «О-о-ооо!» Это Микуль и Ай-от обходят стадо оленей. А олень-хар, мудрый вожак, уже настраивается — он знает по голосу хозяев, — в каком направлении вести стадо. Потёпка и Вун-ай-ики запрягают оленей в нарты.

Яныг-турпка-эква копошится у потухающего костра. Тетя Сана моет снегом чашки и складывает в специальный ящик для посуды. Окра усаживает в нарту детей. Каждый занят своим делом. Спокойны, даже торжественны их движения.

«Какая мудрость в них живет? Почему им кажется все это обыкновенным? И эта морозная ночь, и это солнечное утро, и этот мерзлый хлеб и мясо... Может быть, их успокаивает, радует дорога, стадо, движущееся по ней, вечное движение?.. А может, они просто привыкли жить не думая? А может, они просто мудрее?»

Думы мои, думы...

— Так много мы любим говорить! «Романтика... Комсомол». А что сделали мы? Да скоро нас презирать будут! Ййкор и тот... — Итья Татья не договорила.

Она захлебнулась от еле сдерживаемого волнения. Говорило ее лицо, глаза. Кажется, я все понял, даже в окаменевшем Ларкине шевельнулось что-то живое.

Впервые я видел ее такой взволнованной, сердитой, какой-то далекой и недостижимой.

— Что ты от нас хочешь? — усмехнулся

Ларкин. В глазах его сквозила древняя улыбка мужчин, снисходительно относящихся к женщинам.

Но она не заметила этого. Татъя вдруг приблизилась, особенно ее глаза. Они словно прилетели издалека, из страны презрения и отчуждения, и замахали теплыми крыльями. Они тянулись к нам, словно руки друга. В них было столько желания сказать, объяснить.

— Я, я ведь умею готовить... Готовить обеды по-новому, по-современному. А то я вижу, как вы едите. Так долго не протянете... Разрешите мне готовить для всех!..

Подобрел и Ларкин. Но он высказал сомнение: мол, олениводы обидятся да и не захотят есть наше. Ведь они привыкли по-своему.

— Привычка как тяжелый камень. Его трудно убрать с пути, камень обычно обходят... — философствовал Ларкин.

— Но если не захотят, то я буду готовить для вас. А их буду учить. Они постепенно привыкнут...

В душе я был согласен с Татьей. И я люблю мерзлую печень, тающую на губах, и мозговые кости, и олени глаза, и строганину из нельмы и соленого муксуна. Но одно мясо, мясо, и только сырое, надоедает. Я уже привык к другому. И Ларкин и Итья Татъя тоже. И олениводам нужно разнообразие. Хорошее волнение у Итьи Татьи. Но что скажет моя тетя? Не обидят-

ся ли остальные пастухи? Не будут ли неприятности?

Неприятности, может, и будут. Но если бояться всего, то нечего мечтать. Какие же мы тогда комсомольцы?

Хорошее волнение у Итьи Татьи. Оно заставило взглянуть на себя, на окружающих. Действительно, сколько мы уже каслаем с бригадой, а что полезного сделали для них? Ничего! Просто слоняемся, не знаем, за что взяться. Просто мы, наверное, им мешаем. Скоро действительно они будут смеяться над нами.

Оленеводы — мастера! Они нас научат пасти оленей. Но мы, комсомольцы, — мы много нового знаем: можем учить их. Нет, не то слово. Можем воздействовать на них тихо, незаметно...

Мы поговорили по душам. Решили жить не в чуме, а в палатке. Она есть в бригаде, только не используется. Оленеводы относятся к ней с улыбкой. «Дом старушки, делающей нитки из жил, — говорят они о палатке. — В жилу в ней превратишься от холода...» Потому она и лежит.

Нет, мы будем ставить ее на каждой стоянке. В ней будет чисто и уютно. Не будет той тесноты, что в чуме. В чуме трудно навести порядок. Очень трудно. Это вывод Итьи Татьи. Она пыталась что-то в чуме сделать. Но все безуспешно. А в палатке можно... Там можно поставить и столик для газет и журналов. И радиоприемник. Наша палатка будет крас-

ным уголком, новым красным чумом. Говорили еще о многом, спорили, предлагали, мечтали. . .

Олени, уже запряженные в нарты, нетерпеливо постукивали копытами по ледянистому снегу, лайки весело повизгивали в предчувствии новой, большой дороги.

Хорошее волнение. Даже Ларкин словно оттаял. Это и было, наверное, наше первое комсомольское собрание, хотя не велимы никакого протокола. Впрочем, почему должен быть обязательно протокол и прочие формальные признаки «мероприятий»? Ох, как это все надоело! Было бы хорошее волнение. А оно уже есть, есть!

Олени, запряженные в нарты, нетерпеливо постукивали по хрустальному утреннему снегу, лайки весело повизгивали в предчувствии новой, большой дороги. Хорошее волнение. . .



ВСЕ РОСЛИ В ЛЮЛЬКЕ

На стоянке мы пытались поставить палатку. Не вышло. Тетя Сана набросилась на меня.

— Что это вы за существа такие? Кто вас чешет? И это вам не так, и то не так. Нипочем вам боги и духи! — тянула тетя Сана тягучие мансийские слова.

Голос ее вздрагивал. В нем чувствовались и слезы и гнев. В глазах ее погас тот ласковый огонь, который так грел меня в детстве. Они смотрели растерянно, словно потеряли что-то дорогое, но с надеждой, что, может быть, и найдут потерянное. Мне стало жаль тетю. Я не пытался больше настаивать.

Только Итья Татьяна не отступала.

— О, да ты уже старик! А я считала тебя за молодого! — дразнит она Микуля.

— Дайте им палатку: пусть живут как хотят! — добродушно говорит почему-то веселый сегодня Силька.

На противоположной стороне чума сидит мать Сильки, костлявая Яныг-турпкаэква. Уставив бесцветные глаза на Сильку, с большой дымящейся трубкой в руках, она цедит:

— Силька, Силька! Шел на поводу у жены. Мужчина! Жил под поганой крышей. А сейчас идешь на поводу у этих! .. — Она с презрением кивает в нашу сторону.

Отец Сильки, Вун-ай-ики, сидит тихо, насупив брови. Исполдobby посматривает на Сильку. Глаза так и колют. Сердцу холодно становится. Но скоро будет жарко. Ййкор бьет ладонью по поллитровке. Звенит стекло: звякнула отлетевшая пробка.

Спирт... Он хороший, когда горе. Все забудешь. Горе? Да, горе. Жена Наста опоганила дом, Силькино имя, честь. Доброе имя — честь! Манси любит доброе имя. От зари до луны, от луны до зари бегут за широкими лыжами, обгоняя друг друга, две дорожки. Если они бегут — доброе имя у охотника. (А Силька был охотником.) Если спят — плохое. Если белка не висит за поясом, если не смотрит с плеча лисица, если не качается росомаха — плохое имя у охотника.

А летом, когда запляшет рыба на Сосьве, забурлит от всплеска Обь, плохое имя

у манси, если он сможет спать в такие ночи. Какой сон! Ему больше надо рыбы наловить, обогнать других.

А хороший дом, хорошая жена? Что за манси, если нет у него хорошего дома, жены? А у него, говорят старые люди, нет хорошего дома. Опозорила Наста. Лазила на крышу. Старики говорят: «Ты, Силька, мужчина, а жил под крышей, по которой ходила женщина». Эх, Наста!

Звенят стаканы. Йикор любит чокаться. Сегодня и Силька не прочь. Горе! Горе! Горе пришло в дом Сильки, в сердце Сильки.

Йикор сверкает не только граненым стаканом, не только плешью, но и ехидной улыбкой. Он смеется и над пьяным Силькой, и над старой Яныг-турпка-эквой, и над нашей неудачей. И хотя глубокая ночь давно навевает уставшим за день сны, он гогочет как гагара. . .

Словно вихрь пронесся над Микулем. Волосы взъерошились. Глаза сузились. Он весь побагровел, как закат, обещающий бурю.

— Товли! Довольно! — вырвалось у него, как гром.

Подлетел как вихрь к гогочущему Йикору. Одно мгновение — и гагара стонала уже за чумом.

В ночь ушел и Силька.

Еще холоднее стало в этом тесном чуме. . . Разве можно спокойно спать в такую ночь?!

* * *

Меня разбудил детский плач. Это кричал Мань-пыг, спеленатый в берестяной люльке. Наверное, мокрый, наверное, надоело лежать связанным. . . В лапах медведя побывал, и то не кричал. А тут кричит. . .

Еще заспанная мать вынимает его из люльки. Он вытягивает от удовольствия толстые белые ножки с прилипшей мокрой шерстью и, довольный, машет ручками. . . Он поблескивает, как мокрая нельма. К нему ластятся белесые струи: в чуме еще холодно. . .

Мань-пыг, маленький сыночек, выйдет ли из тебя оленевод, захочешь ли ты жить в чуме, будешь ли ты кочевать, как твои родители? Кто знает, кем ты будешь и чего захочешь! Сейчас тебе все равно. Жизнь твою никто не сможет придумать.

Жизнь теперь бежит не шагами лыжника, несется не оленьей рысью, а летит космическим кораблем. И тебя, быть может, подхватит скорость этого корабля, пусть ты еще каслаешь, пусть даже спишь в древней люльке. Люлька. . .

Мать вытряхивает мокрую труху из ночной люльки. Ноздри щекочет острый запах. Но никого это не тревожит. Все спали в такой люльке, со связанными руками и ногами. Шевельнуться даже нельзя. Можно только повернуть голову с боку на бок.

Зато ночью не мерзнешь. . . Хоть и неудобно, зато живешь, в чуме живешь, на

нарте живешь, когда поет вьюга — живешь, когда всех клюет дождь — а тебе тепло, а ты живешь! Вот такая ночная люлька, сделанная из бересты, с узорами леса, оленьих рогов, следов лягушек и птиц.

Но есть еще и дневная люлька. Она тоже из бересты. На ней тоже узоры. Еще ярче. И красные и желтые. И сделаны они гораздо аккуратнее. Ведь это дневная люлька. На нее смотрят люди. Смотрит и дитя. А на люльке навешаны бляхи, и колокольчики звенящие, и разноцветная бахрома.

В отличие от ночной, в дневной люльке есть спинка. Ребенок не лежит, а сидит в ней. Люлька обычно висит на кожаной веревке, подвязанной к потолку или к жерди, как в чуме. Когда ребенок плачет, люльку качают, и ребенок успокаивается, засыпает. Когда маленький человек проснется, он старается освободить ручки, потрогать бахрому, висящую перед ним, и голос звонкого колокольчика хочет послушать. Малыш плачет. Тогда его развязывают по грудь, освобождают руки, и он успокаивается, играет. . .

Детскую люльку манси называют «апа». Апа! Хорошая апа. Пусть лежал в тебе связанным и я, пусть не давала ты мне свободы и простора, но ты прятала меня от холода, под твое мерное качание я засыпал, забывая детские обиды и желания. Благодаря тебе, милая апа, я был всегда с мамой. И тогда, когда шла она с ружьем по зимнему хрустящему лесу и белочки с огнен-

ными хвостами падали к ее ногам, я был с мамой, ты, моя апа, висела на спине мамы, а я сидел в тебе. И тогда, когда она вынимала из сети серебристых сырков и лодочка качалась, качалась на волнах, я был опять с мамой — мне было и не холодно, и не кусали комары. Я был с мамой и тогда, когда она косила сено в жаркий июльский псдень и когда везла дрова из дремучего леса на ленивой лошаденке. Апа, ты, может, была чересчур строгой и жестокой. Но лишь благодаря тебе я стал ценить простор и свободу. . .

В такой же люльке рос и Вун-ай-ики, в такой же люльке он баюкал Сильку, из такой же люльки улыбалась Итья Таття. Но не в этой люльке Яныг-турпка-эква стала такой ворчливой, не в этой люльке у милой тети Саны родилось суеверие, не в этой люльке Потёпка стал шаманом.

Все росли мы в одной мансийской люльке. И, как стороны света, такими разными стали. . .



ВОЛКИ

Утро. Звезды уже откочевали с проснувшегося неба. Лишь тонкий месяц, как пастух, ожидающий смену, еще бродит по верхушкам коренастых кедров. Где-то близко-близко за деревьями идет солнце. От его приближения небо позолотело, заулыбалось, а тонкий месяц, уставший за ночь, побледнел. И как только солнце кинет свой золотистый взгляд на верхушки кедров, он уйдет на отдых. Трудная все же у месяца обязанность: ему приходится работать ночью.

А ночью темень. Хоть глаз выколи — ничего не видно! Ночью только волки становятся зорче, чтобы видеть свою добычу — тонконогих оленей.

Ночью злей мороз. В темноте наглеют его ледяные языки. Лизнут щеку — и она побелеет, лизнут кончики пальцев — и чуткие пальцы не слышат ничего, словно глухие. Взойдет месяц — и все заголубеет, засияет. Месяц яркий, все видит: ведь он пастух — ему доверено охранять всю землю, все добрые стада звезд, все стада оленей. . .

Трудная профессия пастуха!

Как на смену месяцу приходит солнце, так и Микуля и меня, дежуривших всю ночь, сменяет пастух Ай-от. Вот он уже идет. . .

Трудная была ночь. Как больные в жару, метались олени. Их беспокоили волки.

Волки. . . Раньше о них я слышал лишь в сказках да в длинных охотничьих рассказах. И не совсем без спроса нападают они на людей и на тучные олени стада. Перед тем как напасть, они завывают голосом вьюги, плачут, умоляя Небо, прося разрешения указать им, кто больше всего грешен, кому пришла очередь оказаться в волчьих зубах, расплатиться за содеянные грехи.

Волки воют — говорят с Небом. Волки напали — это желание Неба, Судьба. А от Судьбы никуда не свернешь, не спрячешься. . . Так думали раньше манси и ханты о волках.

И вот когда за карликовыми соснами на голубоватом лунном снегу мелькнула серая тень, лыжи мои словно онемели, остановилось, кажется, сердце. В мыслях бы-

стрее самолета промелькнуло: Судьба!
(Сильны все же суеверия, навеянные в детстве!)

Но волк несся не на меня — он стрелой летел на почуявшего опасность оленя, вцепился клыками в ляжку. Олень остановился, присел, наверное, от испуга и боли передними ногами на снег. Мгновение — острые клыки впились в горло, и на синеватом снегу в судорогах билась голова оленя. А волк летел уже к другому, к третьему. Вторая и третья голова оленя плясали на снегу, второй и третий ручей горячей крови бил из перегрызенного горла...

Олени метались. Они бежали почему-то в мою сторону. И я чуть не побежал. Но волк был уже совсем рядом. Только тогда, когда он перегрыз горло нового оленя, надышался теплой крови и был готов броситься на следующую жертву, только тогда волк заметил меня. Глаза его зажглись зеленым огнем. Они горели, кажется, ярче луны. Волк ощерился, оскалил зубы. Острые клыки сияли в лунном свете. Он словно улыбался над моей растерянностью...

Не помню, как я выстрелил. И не помню, из какого ствола двустволки сначала выстрелил: то ли из ствола, заряженного пулей, то ли крупной дробью.

Но когда дым рассеялся, на шее оленя лежала голова волка. Она еще раскрывала пасть и скалила клыки. Но злобный, зеленый огонь в звериных глазах уже погас...

Услышав выстрел, с лаем прибежала со-

бака. А за ней и Микуль. Не обращая на меня никакого внимания, он подошел к подыхающему волку.

— Твари! — процедил он сквозь зубы. — Опять появились! . .

Я ожидал, что он меня похвалит: ведь я впервые убил хищника, да еще какого! Четырех оленей растерзал он на моих глазах.

Но Микуль на меня даже не взглянул. Обидно! «Неужели и это обычное дело?!» — подумал я.

Не теряя ни секунды, Микуль срубил топором высохшую сосну, набросал сухих веток. Только чиркнул спичкой, как сухая хвоя вспыхнула ярким пламенем. Высоко в небо летели искры. При свете костра голубая лунная ночь, кажется, посинела.

Собаки лают — волки близко, говорят в народе. Собаки наши визжали, стучались о серебряные стволы деревьев, жались к нам. Видно, не один и не два волка напали на стадо. Микуль стрелял из ракетницы. Красные и белые ракеты вспыхивали и рассыпались над верхушками деревьев, освещая на мгновение необыкновенным светом тайгу. Олени жались к костру. Много костров разожгли мы в эту ночь. Пока не откочевали звезды с проснувшегося неба, много раз обходили мы огромное пастбище. Но усталости не чувствовали.

И вот верхушки кедров уже пылают в лучах солнца. Месяц ушел на отдых. Волки исчезли как тени. И мы с Микулем, почув-

ствовав наконец усталость, направились к чуму.

Волки... Нет, исчезли не насовсем. Вечером с появлением теней они опять приблизятся к стаду, снова будут резать оленей.

— Вот ведь твари! — вслух возмущается Микуль. — Ну загрызли бы одного-двух оленей. Так нет, им одного-двух мало: режут подряд. Кровопийцы! Надо усилить охрану: наставить пугал, капканы, сделать отравленную приманку. С волками справимся! — почему-то вздыхая, говорит Микуль. — Со зверями справиться легче... Труднее наладить положение в бригаде...

Поскрипывают лыжи, похрустывает подмерзший снег. «О чем это Микуль? — думаю я. — Наверно, о вчерашнем происшествии».

— Погорячился я, — продолжает он. — Не надо было выбрасывать Йикора из чума. Все же человек...

Поскрипывают лыжи. Хрустит снег...

— Но сколько можно терпеть?! — словно оправдываясь, восклицает он. — Кривляние, расхлябанность, болтовня, когда это кончится? А все из-за вас! Раньше, когда ходили одни старые оленеводы, не было у нас никакой грызни. Все делали дружно... Складно. Не было враждебности, непонимания.

Поскрипывают лыжи. Хрустит снег...

— Что-то надо делать! — заключает он.

Поскрипывают лыжи, хрустит снег. Месяца давно уже нет. Его сменило солнце.

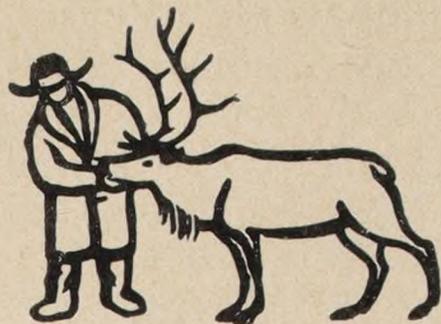
Но кто сменит бригадира? Ночью он боролся с волками. Днем — новые заботы: бригада, люди. С волками легче. С людьми труднее. У каждого душа. А что в ней? .. Бригадиру надо знать все. . . И все уладить. Но как? С чего начать?

А может, и он виноват. Трудно сказать, кто виноват. Ясно одно — в бригаде беспорядок. Так жить нельзя. Волков можно уничтожить, а люди. . .

Солнце золотым глазом уже осматривает землю. Всякая нечисть при свете ярких лучей прячется, спит до темноты, а все доброе начинает жить.

Вот уже дымок чума: оленеводы встали. Микуль не месяц. Он не может и не имеет права отдыхать, если в бригаде беспорядки.

Поскрипывают лыжи. Похрустывает снег. . . Микуль задумчив. Много надо думать бригадиру. . .



САМЫЙ БОЛЬШОЙ ОЛЕНЕВОД

Что за шумное веселье над тайгой? Неужели небо звенит от полета уток? Неужели юг на север прилетел? Нет, рано! А может быть, удачливый охотник убил хозяина лесных дебрей, и в чумах и во всей тайге медвежий праздник?

Гремит тайга дремучая веселым собачьим лаем, а над кедрами столетними летят, летят слова:

— Мак яныг сáли-урнэ-хум ёхтыс! Самый большой оленевод приехал!

Мокрый снег проваливается под широкими легкими лыжами, но я не обращаю на это внимания — я спешу навстречу голосам. Вот уже вижу дымок над чумом. Вот и чум и поляна. На поляне олени, собаки, люди.

— Мак яныг сали-урнэ-хум ёхтыс! Самый большой человек, охраняющий оленей приехал! — поет поляна.

А я большого человека и не вижу. Вижу только оленей. У них бока колышутся, как меха старой гармошки. Отвисли красные, длинные языки: видно, долгую дорогу пришлось осилить!..

— Мак яныг сали-урнэ-хум ёхтыс!

Да где же он? Разве тот, что в объятиях пастухов? Да он вовсе не большой, не выше карликовой сосенки. Да к тому же это совсем и не оленевод, а обыкновенный горожанин. На нем короткое модное городское пальто. Очки в роговой оправе... Какой он оленевод с такими глазами? Очки упадут в снег — и он слепой, как сова днем!

Настоящий оленевод, наверное, уже в чуме. Приезжего я где-то видел. Но когда, где? Взгляд... Знакомый и незнакомый. В памяти возникает черная доска, черная парта и серые глаза...

— Коля! — узнает меня он.

— Арсентий!

И мы летим друг к другу, как две встречные волны. И обнимаемся, как две волны. А потом смотрим друг на друга, наверное, каждый из нас думает о том, какими мы были в школе и как изменились теперь. Хорошо ли, плохо — встретились, хорошо ли, плохо — вспомнили...

Мы сидим за низеньким столиком. Рядом пылает костер. И в небе пылает солнце. Тает снег от костра, от солнца. Даже

столик вот-вот провалится в снег. Но мы не идем в чум. Там нет этого бескрайнего простора, костра, солнца.

Костер — лучший друг людей. Костер — самый интересный собеседник. Но вновь приезжий человек интересней.

Глаза всех оленеводов, больших и маленьких, женщин и мужчин, тянутся к глазам Арсентия, словно это необыкновенные две звезды, засиявшие в голубой лазури неба днем, при ясном солнце.

Даже Вун-ай-ики сегодня какой-то мягкий, словно весенний снег под теплыми лучами солнца. Он с почтением задает вопросы приезжему и, дождавшись ответа, рассуждает с ним как равный с равным. С нами он так не разговаривает. С нами он говорит, как лось с лосенятами. А с ним — как рогатый с рогатым.

... Солнце золотым глазом смотрит уже с запада. Его руки ласкают верхушки древних кедров. Над ними струится теплый голубой дымок. Дымок нашего костра тоже голубой, тоже теплый. Голубой дымок струится и в руках Яныг-турпка-эквы: она курит и задает приезжему вопросы.

Арсентий рассказывает новости: и о том, что на третье стадо совхоза напали волки, а в седьмом потерялся пастух, и о маневрах американского флота, и о новых предложениях Советского правительства по разоружению, и о героической Кубе...

Не забывает рассказать и о том, что нужно делать оленеводам в условиях вес-

ны, как спасти стада, когда от раннего дождя и частых снегопадов местами образовалась ледяная корка. Трудно оленям доставать вкусный ягель. Мудрые оленеводы, древние оленеводы задумывались, как быть, но Арсентий знает. Он рассуждает вслух.

Говорит и моя тетя Сана, подшивающая кисы, и повеселевший Силька, стругающий ножку для нарты, и Микуль, с наслаждением нюхающий табак, и Потёпка, натягивающий оборвавшиеся струны санквалтапа, и Вун-ай-ики, приводящий в порядок тынзян, и маленький оленевод Епа, и даже Мань-аги, озорница-белочка, прыгающая у костра — все думают вслух, говорят... Интересная беседа. Вчерашняя ссора растаяла, как свежавыпавший снег при сильном, теплом ветре.



ЛЕСНАЯ РЕЧКА

Мы остановились в долине одной из маленьких лесных речек, по-мансийски называемых «я». Кругом холмы с зубчатым бором, как спина осетра. В бору пихта, сосна, кедр. К берегу склоняли тяжелые лапы ели, белые сверху, черные как смола снизу. Между холмами сияет под ярким солнцем большая поляна. Только посреди поляны извивающейся лентой чернеют две параллельно бегущие полосы. Это из-под снега смотрят кáрапли-йив — тонкие ивы, окаймляющие лесную речку.

Лесная речка... Ты навеваешь сны, шепчешь сказки моего детства. По звонким берегам такой же речки мы с мамой бродили по первой снежной пороше. Впереди бежала лайка. Почует на ветке озорную

белочку, щелкающую орешки, и сразу лает. Мы с мамой не торопясь идем на ее страстный зов. Никуда белочка не убежит. Я несу ружье мамы, как настоящий охотник. А мне всего шесть лет...

Наш Ханси все лает и лает. Он уже видит нас: то бросается к нам навстречу, то опять кусает кору высокой стройной сосны. Это Ханси говорит: «Вот белочка, которую мы ищем, которая нам троим так нужна». Потом мама вскидывает ружье. И белочка, с золотистыми усиками, с пылающим золотистым хвостом, лежит уже у наших ног. И мы все радуемся. Особенно Ханси и я...

Лесная речка... На твоих каменистых перекатах, где беспокойная вода журчит и лепечет голосом монет, стояли наши гимги¹, плетенные из тонких прутьев и корней кедра. Когда солнце уже собиралось запрятаться за спину тайги, мы шли к перекатам, вытаскивали из воды гимгу, посаженную между камнями. В ней плескались огромные щуки, у которых на спинах цветут причудливые узоры с зелеными и белыми полосками, и крылатые рыбы — хариусы...

Лесная речка... На твоем берегу обязательно стоит избушка. В нее несут свою добычу охотники. Ни один зверь, даже медведь, лазающий по деревьям, не может забраться в нее. Избушка стоит высоко, на

¹ Г и м г а — рыболовная снасть.

стволе срезанного кедра. Рядом с избушкой на курьих ножках — обыкновенная изба. Загорится заря — в избе появляются охотники. Первыми, конечно, приходим мы с мамой. Рубим дрова. Разводим в чувале¹ огонь и готовим ужин... Потом приходят другие охотники. При свете жаркого чувала охотники снимают шкуры белок, развешивают на просушку. Варят суп из нежного беличьего мяса...

О лесная речка, ты напомнила мне запах вареной беличьей головы! Как давно я не ощущал этого запаха!.. Как давно я не слушал у чувала, стреляющего искрами, длинных-длинных, как ночь, сказок!..

¹ Чувáл — очаг.



НОВЫЙ ШАМАН

Всю ночь кричал Мань-пыг. Лицо его было красное и круглое: он тужился и плакал. И казалось, вот-вот сорвется голос его.

Яныг-турпка-эква квакала, как лягушка, и плевалась зелеными плевками на Итью Татьяю.

— Аргум-варнэ-ут! Аргум-варнэ-ут!¹ Это ты принесла нам несчастье: не соблюдаешь законы предков! За тебя наказывают нас боги, отнимают душу нашего внука. Тебя надо наказать!

Ворчала и тетя Сана:

¹ Дух, посылающий болезни.

— Из-за нее может погибнуть стадо: за мужское дело взялась, не бережет в чистоте хорей, через него перешагивает. Разве мансийке можно?!

Потом говорит Окре:

— Попроси Потёпку, пусть пошаманит. Он ведь был большим шаманом. Много людей вылечивал, спасал от смерти. Над маленьким, чистым человечком духи, наверное, сжалятся, если их задобрить... Пусть пошаманит Потёпка... Проси, проси его, Окра.

И Окра просила, умоляла Потёпку, чтоб он поговорил с богами, узнал причину, за что мальчика наказывают духи, чем провинились оленеводы.

Потёпка сидел лицом к железной печке, в которой играл, трещал огонь. Его почти бесцветные глаза были печальны.

— Не могу я вылечить мальчика, не могу... Больше я не шаман. Знаете ведь, я больше не шаман... Надо съездить в соседнюю бригаду за фельдшером.

Неизвестно, что было бы дальше, если бы не Итья Татьяна. Она посмотрела на всех долгим, глубоким взглядом. А потом попросила у плачущей Окры разрешения подержать ее сына. Даже та, молодая, на Итью Татьяну косилась. Но сына все же дала.

Итья Татьяна прильнула смуглой и румяной, как яблоко, щекой к лобик у мальчика, заглянула в ушки и ротик, потрогала его ручки, круглый животик и попросила мыла. Отрезав тоненькую стружку, она по-

ложила ревущего Мань-пыга животиком на свои колени. . .

Стружка мыла оказалась чудом: вскоре мальчик оправился, успокоился и заснул глубоким сном.

Яныг-турпка-эква больше не плевалась. Окра целовала Итью Татью и роняла на ее сверкающие бусы счастливые материнские слезы. . .

Все так же играло пламя в печке, все так же потрескивали смолистые дрова, все сидел Потёпка у огня, только в глазах его словно плясали теперь озорные искры.

— Вот вам и шаман! Вот вам и новый шаман! — говорит он, кивая седой головой в сторону Итью Татьи.



БУДЕТ ЛИ ЁИКОР ЧЕЛОВЕКОМ ?

В ту памятную ночь волки загрызли двенадцать оленей. На следующую ночь охрану усилили. Один серый попал в капкан. Но к отравленной приманке волки так и не притронулись: хитрые твари, нажрались в первую ночь.

Хоть и ярко горели костры, и чернели на лунном снегу пугала, хоть и освещали небо ракетницы, волки все же подкрались к стаду и загрызли еще трех оленей. Но пастухи не дремали. Ай-от и Потёпка меткими выстрелами уложили трех зверей. Два других волка, почувствовав свою кровь, убежали. На следующую ночь они не появились.

В эти дни олени были возбуждены, плохо щипали вкусный ягель. В сторону Урала мы продвинулись лишь километров на десять. Оленям нужен был отдых. Обойдя стадо, Микуль заметил, что нет некоторых оленей. Отбились от стада, когда волки напали. Надо найти и вернуть их, пока на след не напали звери.

По одним следам вызвался идти Йикор, по другим Потёпка.

Потёпка вернулся в тот же вечер, пригнав десять оленей. Они, оказывается, были совсем недалеко, километрах в пятнадцати от чума, на южном берегу лесной речки, где снег подтаял, щипали зеленоватую прошлогоднюю траву. Олени любят зелень!

А Йикора не было. Думали, придет к утру. Не вернулся Йикор и на следующий день. Мы уже откочевали очередные семнадцать или двадцать километров. Не могли же стоять на одном месте. Весна наступает. Скорее нужно добраться до мест отела. На старой стоянке чума оставили записку. Да и не так уж далеко отошли. Йикор сразу нашел бы нас.

Стали волноваться. К тому же ночью была метель. Следы замело. В тайге легко заплутаться. Особенно неопытному и подслеповатому Йикору. Да еще волки. Ближайшие сорок — пятьдесят километров объездили вдоль и поперек, но не нашли ни оленей, ни Йикора.

Микуль хмурился. Он, наверное, ругал себя, что согласился послать Йикора.

Погибнет человек. Хоть плохой Йикор, но все же человек.

Йикор... Он не любит работать в колхозе. Летом ловит в Оби серебристых муксунов, граненых осетров и не сдает государству, а садится на огненную лодку — белый теплоход: там любят рыбу... И ездит Йикор на белых лодках далеко-далеко, слушает песни, разные истории. Даже в городах каменных бывает. Он знает обо всем. Приезжает домой, долго рассказывает, над всеми сородичами смеется...

Приедут судьи — Йикор, как налим, выскользнет из их рук: все законы знает!

Люди говорят: не Йикор продает рыбу, продает рыбу злой дух — Куль, который сидит в нем! Не Йикор над людьми смеется — смеется дух подземного Неба — Куль! Надо выбить из него этого духа, надо сделать Йикора человеком! Ведь каждый может найти свою совесть и искупить вину перед людьми.

И колхозники решили расправиться с Йикором своим судом: направили в кочевье, на Урал. Тяжелый труд и безлюдная дорога выбьют из него злого духа — Куля. Так вот Йикор и оказался с нами...

Каждый воспринимал исчезновение Йикора по-своему. Тетя Сана ругала Микуля:

— Тоже нашел кого посылать. Лучше сам пошел бы!

Микуль хмуро молчал.

— Куль, злой дух, наверно, водит его

по тайге, — говорила, вздыхая, Яныг-турпка-эква. — Такая у него, уж видно, судьба. Бедный человек!..

— Куль, конечно, Куль его водит. Да и он сам Куль! — смеется Ларкин. — А мы еще столько ищем, беспокоимся... Стоит ли? Ведь все равно судьба!..

— Человек, даже самый плохой, — он все же человек! Его надо найти... Хотя бы косточки. Похоронить надо... А то — грех... Людям так нельзя!..

Я не узнавал Вун-ай-ики. Он с почтением говорил о Йикоре. Только вчера косился на него, презирал. А теперь...

А может, все старики так относятся к мертвым?

— Если человека не уважали живым, то надо хотя бы теплее проводить его в другую жизнь, в подземное Небо. У него тоже сердце. Все же человек! Нельзя смеяться над горем, — продолжал Вун-ай-ики.

Когда Микуль предложил мужчинам отправиться на поиски, Ларкин отказался. Мне было стыдно за него. С недоумением смотрели Арсентий и Итья Татья. Она вызвалась идти на поиски.

Мы уже собрались, когда за чумом раздался дружный, радостный лай собак. Все стрелой вылетели из чума. Даже Яныг-турпка-эква и Вун-ай-ики вышли. Собаки весело повизгивали в сторону таежной речки. Скоро показались олени, а за ними и Йикор. Он тяжело передвигал лыжи по хрустящему утреннему снегу. В усталых

слезящихся глазах его — искорки счастья.

Микуль сразу как-то преобразился, словно сбросил тяжелый камень; с восхищением смотрел на Йикора маленький Епа. И даже всегда недовольный Вун-ай-ики потеплел.

Как же не потеплеть сердцу, если даже смешной Йикор смог выстоять против морозных ночей в безлюдной тайге, спасти оленей от волков и, несмотря на метель, найти дорогу к людям!..

Старики когда-то говорили: «Не Йикор продает рыбу, продает рыбу злой дух — Куль, который сидит в нем! Не Йикор над людьми смеется — смеется дух подземного Неба — Куль! Надо выбить из него этого духа, надо сделать его человеком! Ведь каждый может добрыми делами искупить вину перед людьми!»

Никакого Куля, конечно, нет. Это сказки. А плохой человек Йикор был. И правда, каждый может найти свою совесть и стать человеком! Будет ли Йикор человеком?..



А ТАЙН НА ЗЕМЛЕ ТАК МНОГО...

Это играет санквалтап?

Нет! Это поют и рассказывают сказки восемь женщин, а двое пишут.

Кто эти женщины?

Женщин нет: это поет нарта о восьми ногах и двух полозьях. Нарте подпеваает тающий снег. Песня ее длинная-длинная — я уже устал слушать. Песня ее скрипучая-скрипучая. Песня ее монотонная-монотонная, как старинная жизнь. Не хочу я жить такой жизнью. Что это такое: изо дня в день олени бредут, бредут, перекатываются, как тяжелые камни. Где-то летят космические корабли, и жизнь летит. А мне медленно, как мамонты, вросшие в землю, кивают древние кедры.

Сколько этим кедрам?

Наверное, лет триста!

Кедры кивают мне и нараспев рассказывают сказки, которые они слышали еще от своих дедов. Они рассказывают о дороге, по которой мы движемся к Уралу.

«Не ты первый едешь по этой дороге, — тянет кедр под скрип полозьев. — Ездили за невестами, чтобы породниться с другими народами. На этой дороге сверкали рога тучных оленей, сверкали и сабли. И ходила по ней злоба и вражда. Манси и ханты воевали с соседями: коми и ненцами. Кровь лилась. Страшно!.. Но все было, было, было...»

Это я знаю по легендам, которые таит каждое священное место, каждое кладбище, каждый камень, каждое дерево.

...На островке, что возвышается над лысыми топкими болотами, в лесу стройном и тенистом, «священное место» оленеводов. Среди высоких деревьев, как одноногий таежный глухарь, стоит сумьях¹. Толстый ствол кедра — надежная нога — крепко держит его над землей... Перед сумьяхом место для костра и пиршеств. А вокруг деревянные идолы. Их столько, сколько раз приносили люди жертвы и пировали. Среди тенистых ветвей натянуты тугие луки. В сумьях тоже идолы. Только они нарядные. В соболиных шапках, в цветных сукнах. Это духи. У них есть имена... Много

¹ Сумьях — домик на высоком пне кедра.

шкурок соболей, лисиц, куниц... И, конечно, множество монет и самых древних, и не древних, и золотых, и серебряных, и медных... Много и других драгоценностей.

Веками сюда несли люди свои дары, чтобы в случае народной беды было чем воспользоваться... Здесь «хранилище добра», «священное место»...

А на берегу речки — кладбище. Когда-то тут жили манси. Они или вымерли, или ушли. Осталось только кладбище. Оно тоже много расскажет. Ведь на кладбище все так же, как и в деревне у живых. Могилы стоят рядами. В середине площадка для разжигания костра, для пиршеств и плачей. В могиле, небольшом деревянном срубе, — лодка. Это гроб. Ведь душа будет плыть. Отбудет свой срок в могиле и поплывет за море, в новое царство. Потому покойников хоронили в лодке и ставили в деревянный сруб, похожий на домик. Сверху засыпали землей, чтобы вода стекала в обе стороны. У изголовья маленькое окошечко. В него можно просунуть руку и положить табачку — если человек курил, покрошить рыбки. Словом, приносили во время поминок и плачей все, что человек любил.

Вот лежит камень с загадочными рисунками. Проезжий остановится, в молчании опустит голову, бросит монету звенящую или кольцо блестящее. И камень заговорит тихим каменным звоном, что богатырь Тэкики тысяча лет назад пролил здесь свою

кровь и победил чудовище, которое пришло на его землю со злым, коварным умыслом.

И до сих пор манси и ханты каждые семь лет в одной из деревень вспоминают героя, славят его торжественным ритуалом и страстной пляской.

А это что такое? Надо думать, думать, думать... А чтобы думалось — надо искать и ехать! Ближе ли, дальше ли — только ехать и пристальным взглядом вглядываться в жизнь. И тогда все раскроешь, все поймешь! А все понять — счастье!..

Перекатываются, как камни, олени, скрипят полозья, над кедрами кружатся снежинки. Снежинки тихие-тихие. Их много-много. Они что-то тихо шепчут. Это сказки и легенды. По земле ходят легенды. По дороге ходит Жизнь. Надо о ней рассказать.

Стучат копыта оленей. Полозья поют песню... Я еду, еду, еду...



СКАЗКА

Белой птицей летает вьюга, белым клювом в чум стучится и завывает, и завывает.

Кажется, нет конца этой песне, кажется, нет конца этой сказке... А в чуме — тоже сказка.

— И золотое солнце по земле ходит, и злая вьюга по земле ходит. Есть в мире добрые духи — Миснэ и Мисхум, есть и злой дух — Куль. Вот вы не верите, не верите, а Куль все же есть. Даже среди людей, — рассказывает в лад вьюге Яныг-турпка-эква. — Было это в деревне. Где дома, как деревья, стоят на месте, не кочуют, как чумы.

Жила там одна добрая женщина. Пошла она в лес за дровами. В светлом лесу,

где одни березы, она вдруг слышит — не гагара плачет, не щенок скулит — дитя жалобно плачет. Посмотрела — правда ребенок. И как может пройти мимо добрая женщина! Стала она кормить его, стала матерью.

Голова у него большая, больше чугунового котла. А туловище маленькое, меньше вяленой щуки. Однажды взял его дедушка на рыбалку — Куль всю рыбу съел. Взяли его на охоту — все, что убили, один съел. Проходил мимо хозяин леса — лесник, Куль и лесника съел...

Белой птицей летает вьюга, белым клювом в чум стучится и воет и воет... Яныг-турпка-эква тоже завывает. Жилистые руки ее дрожат. Дымок почерневшей трубки дрожит. Бледные, потрескавшиеся губы ее трясутся, и вся она в ужасе дрожит.

Потёпка, подшивающий свои проносившиеся кисы, лукаво поглядывает на окружающих: не обвинят ли остальные и его в таком же невежестве... Кто теперь верит в Куля? Разве только тетя Сана и Окра? Кто всерьез в этот бумажный век воспринимает такие сказки?.. Потёпка подшивает кисы, бывшие кисы жены, женские кисы. Нельзя было мужчинам носить обувь, которую надевали «поганые» женщины. В бригаде и теперь еще никто не надевает женские кисы, а Потёпка уже носит.

Завывает вьюга, завывает Яныг-турпка-эква. Потёпка, конечно, косится... Люди долго помнят прошлое...

— Приехал в деревню высокий человек, большой человек, как главный олень, кожаными ремнями опоясанный, — продолжала Яныг-турпка-эква. — На боку у него — маленькое ружье. Зовут этого человека — Милица. Это сильный человек, смелый человек. Смелее волка он, сильнее медведя. Увез он Куля в темный дом¹, где держат людей, потерявших совесть. Думали: уж этот человек справится с нечистью!

Увезли... Там Куль стал хитрее росомахи, наглее росомахи. У мудрых людей взял их хитрость. У наглых людей взял их наглость. У мудрых людей есть говорящие ящики — радиво. И он себе тоже сделал радиво. Радиво его маленькое, как муха. Летает оно, как муха, жужжит оно, как муха.

Когда Милица спит, радиво подлетает к нему и жужжит. Слова Куля жужжит, мысли Куля жужжит. Пугал Куль Милицу, навевал ему тяжелые сны, звал его в «темный дом»...

Йикор, сидящий на бревнышке, ухмыляется. Красные, как у тетерева, глаза его сделались еще краснее. В них сверкают две крупные слезинки. Это, наверное, слезы смеха: городит старушка чепуху, все на свете перемешала — и Куля, и мать, и лесника, и радио, и милицию.

— Пришел в «темный дом» Милица —

¹ Темный дом — тюрьма.

то же самое слышит. Куда ни повернется, говорит злое радиво. И Милица тоже стал говорить, много говорить...

И все люди сказали: язык у Милицы неправильно вертится. Коль язык вертится, то и голова вертится. Надо голову поставить на место... И Милицу связали, а Куля отпустили домой.

Милица — сильный человек, он справился бы с медведем, справился бы с волком. А с нечистью, с Кулем, даже Милица не справился... Куль есть Куль... Даже самых сильных валит, превращает в подстилку, которую топчут ногами. Появится он рядом — уже летят плевки и ехидный смех... Даже самых сильных он валит!..

Белой птицей вьется вьюга, белым клювом в чум стучится, стучится и завывает, завывает... И хотя трещит от смолистых дров печка, и хотя жар его легкими руками ветерка касается лица моего, мне холодно. Другим, быть может, тоже холодно?

— Пришел домой Куль. Пришел к той, которая его вскормила. Много видел Куль. Много разных слов слышал он. Многому научился. Хороший человек берет от других доброе. Дурной человек берет себе подобное.

Пришел домой Куль — места себе не находит, возится со своим радиво, над матерью смеется. И говорить стала мать как радиво, плакать, смеяться стала... И люди сказали о матери:

«Между двух сторон попала она, помещалась». Смеяться стали плохие люди, а хорошие доброго не могли сказать...

Хорошее дитя запах материнского молока до седин помнит, у доброго человека цвет молока сединой пробивается в волосы под вечер жизни.

Белой птицей летает вьюга, белым клювом в чум стучится и завывает, и завывает. А Яныг-турпка-эква уже не завывает. И дымок почерневшей от времени трубки уже не дрожит; бледные, потрескавшиеся губы сжаты, лишь из поблекших глаз с морщины на морщину медленно перебираются тяжелые слезы.

Холодно... В углу тяжело вздохнул Силька. Он сидит с опущенной головой. Давно он ходит с опущенной головой. Кажется, давно-давно потерял он улыбку и язык. Лишь вздыхает и все молчит... Молчит, как камень... Неужели он камень?



СИЛЬКА

Над кедррами кружится снег, по кедррам гуляет ветер, под кедром скачет соболь. То он, как кошка, согнет спину, то летит, как белка, то пляшет на ветвях, как бурундук. На утренней и вечерней заре он выходит из гнезда. А гнездо теплое, надежное. «Нехс пити» — зовут манси гнездо соболя. «Нехс пити» — называют манси свой дом, если в нем есть счастье, тепло. Тепло соболиного дома охраняют корни могучего кедра. Из-под них соболь выходит осторожно, прислушиваясь: не сыплет ли снег с веток, не резвится ли там белка иль бурундук?

Может быть, его подстерегают враги: острокрылый ястреб и охотник? Он боится

ястреба. А охотник? У него есть собака. Не уйдешь, если снег неглубокий.

А сеть охотника? Она стоглазая. Не заметишь ее, запутаешься. Охотник навалится. Потому соболь осторожен. Лапки его неслышно рисуют узоры на снегу. Соболь жаждет мяса и крови. А охотник — его шкуру. Он тут как тут.

А кто охотник?

Силька... Сильвестр. Лучший охотник колхоза.

Не уйдет соболь! Охотник — манси! Глаза чуть с прищуром. Брови как крылья ястреба. И во взгляде что-то ястребиное. Не уйдет соболь!

У Сильки пояс с узорами. На поясе — сипаль¹ с острым ножом и зубы медведей. Зубов много. Медведи не уходили. Немцы от его выстрелов не уходили. Соболь не уйдет!

Фашисты... Сорок первый год. Подмосковье. Курская дуга. Варшава, Берлин... Фашисты... Тяжело! Но он манси. Всегда снег и ветер, дорога и шалаш. Ему ли привыкать к трудностям и непогоде! Он плакать не умеет. Но у Сильки есть сердце. Иногда оно плачет. А Силька стоек, как кедр! Ему ли привыкать бороться, искать и побеждать! Манси он! Недаром в роте называли: «Молодец! Снайпер!» Соболь не уйдет!

Тихо-тихо. Лишь поскрипывают обтя-

¹ С и п а л ь — ножны.

нутые золотистым камусом лыжи да похрустывает снег. И вдруг лай собаки!

Мелькнул пушистый хвост соболя. Мелькнул и растаял в искрах утреннего голубого снега. Издали доносится жалобный визг. Скулит собака. Снег глубокий. Вязнет она. А запах соболя дразнит ее.

Соболь ушел. Но найдено его жилище — нехс пити. Нехс пити есть — счастье есть! Соболь не уйдет! Такой характер у Сильки.

Вернулся он из армии после войны. Влюбился. Влюбился в Насту. Она за годы войны подросла. Глаза как спелые смородинки, черные. Лицо — белее зимнего зайца. И косы длинные, звенящие...¹

А любила ли она?

Откуда знать Сильке? Она ведь как зимняя речка. Неизвестно, что под снегом и льдом. Может быть, там играют веселые струи нежной воды, которые так умеют ласкать человека в жаркий летний полдень. А может быть, там только лед и песок.

Не понять Насту. Все она с этим молодым учителем. Соберут под вечер народ в клубе, и учитель, сверкая стеклянными глазами, приставленными к настоящим, доказывает, что нет никаких богов, что их придумали попы, шаманы и богачи, чтобы удержать простых людей в повиновении. Конечно, не все верят ему. Особенно старухи. Но молодые верят, так красиво, так

¹ Мансийки в косы вплетают кольца, монеты.

понятно учитель говорит. Трудно возразить. Сильке он нравится. Он даже иногда завидует учителю: ведь почти рядом с ним за столиком, покрытым красной материей, сидит Наста. Она председательствует.

Хорошо учителю: он с Настой, как рыба в воде. Тяжело Сильке. В голове, как белки, скачут мысли:

«А не любит ли она учителя? Что в нем она нашла? Может, любит за то, что тот читает книги и говорит красиво?»

Ну что же. Пусть. Умеет ли он, как Силька, стрелять, управлять оленями, ходить на лыжах, ловить рыбу? Сумеет ли справиться с медведем? Нет, не сумеет! Как же может мансийка любить его?

Всю осень по снежной пороше, как ветер, гулял по тайге, охотился. Гнал соболя и бил белку. А любовь, как мороз в зимнюю ночь, подступала к сердцу, морозила. Нет, не остынет Силька! Не такой у него характер. Соболя не уходил. Наста не уйдет!

Он сказал ей о своей любви. И женился быстрее, чем в сказке. И не потому, что только он хотел этого. Нет. Он видел и раньше, что ее глаза теплее солнца смотрели на него.

Оказалось, легко жениться. Жить труднее. Не остывала ревность к молодому учителю: у него книги, очки... Как с ним состязаться? Силька пошел в оленеводческую бригаду колхоза. Там, где горы, где человек достигает облаков, там выше че-

ловек, там виднее человек. Наста узнает его лучше и любить будет крепче.

Два года они кочевали по Уралу. С марта, когда солнце становилось щедрее, а снег ярче, они уезжали на Урал. И каждый день раздавалось знакомое, милое: «Э-э-эй! Э-э-эй!»

И тысячи копыт стучали о мартовские звезды снега. Стадо по тайге двигалось к Уралу. А сзади нарты с хлебом и одеждой, радиоприемником и сахаром. В одной из нарт в красивой сахи, расшитой узорами, сидит Наста — медик бригады. Снег, снег, снег... Глаза ее кажутся еще чернее. Они сияют. В руках хорей. Ее слушаются олени.

А впереди снег и солнце, кедровые деревья и дорога... Дорога, дорога!

А там где-то вдруг выскочит Урал. Зашумят прозрачные, как бусинки, речки. На оленей и на Насту они сыплют прозрачный бисер...

Урал. Склоны. Цветы. Хорошо! По склонам — олени. Их тысячи. Как цветы они. И белые, и с черными пятнами, и серые. Гордые ходят над облаками. И воздух чистый, легкий, и ягоды вкусные, и Силька нежен.

— Эх, жизнь! — воскликнет Наста. — Емас! Силька, емас!

А он гордый ходит там, над облаками. Силька спустится с гор. Обнимет. У Насты сияют глаза! Любовь...

Зачем же тогда горы, если есть лю-

бовь?.. В тайгу! В тайгу! Туда, где сияет Обь серебристой гладью, где плещется сырок и стреляют язи. Туда, туда! В край соболя!

Стали жить в деревне. Силька построил дом. Колхоз помог. Дом красивый. С белыми покрашенными окнами. Как крылья, над крышей взвились лосиные рога. «Охотник живет здесь, — говорят они. — Манси живет. Счастье в этом доме есть».

Дом большой, в нем четыре комнаты. Налево — кухня, направо — комната для гостей. Третья — мансийская комната: в ней висят ружья, шкурки лисиц и горноста. Четвертая — русская комната. Меж двух окон — большое зеркало. В него смотрится Наста. Перед зеркалом стол со скатертью. Так Наста придумала. В углу этажерка. На ней часы. Они стучат и днем и ночью. А утром звенят. И Наста просыпается. Умные часы, и Наста умная. Хорошая Наста. Она подарила Сильке сына. Сын! Он будет охотником! Настоящим мансийцем!

Зимой он убьет медведя. Вся деревня: и мал, и стар, и председатель сельсовета, и учителя — будут встречать его. Комья снега полетят в него, лицо покраснеет, загорится. А люди, как дети, будут резвиться, играть, и снег заиграет. Счастье будет.

А может, сын станет председателем колхоза? Не нравится Сильке нынешний председатель. Слишком мягкотел. Лодыри не слушаются. А сын, он будет твердый. Сказал — все! И колхоз разбогатеет. Моторы

стучат. Люди только невод кидают. Рыбу сдают. Работают машины. Людям легко. Хорошо!

А может, сын будет ученым? Как тот, что приезжал с мудрой машинкой и записывал песни. Очки у него. И глаза умные, как у оленя.

Живет Силька. Хорошо ему. И дом, и сын есть, и соболь скачет, и Наста любит.

Наста! Она какая-то странная, непонятная. Вовсе не манси она. И отец манси, и мать манси. А она? То тихая-тихая. Смотрит в книгу, о чем-то думает. То вдруг глаза ее засияют, заискрятся. Будто звезды. И она смеется, и ласковая такая. Сядет рядом. То погладит чуть вьющиеся Силькины волосы, то заглянет в глаза. Тепло-тепло станет. Но нет, бывает и холодно. Странная она. Мансийка, а как будто мансийских законов не знает: лазила на крышу. Ведь она женщина. Разве можно? Сейчас старые манси не хотят в Силькин дом войти. Заходят только молодые.

Приезжают отец с матерью с каслания — и недовольны. Особенно мать. Она старая. При белом царе уже была взрослой. Посмотрит на Сильку с укором, скажет: «Эх, Силька, Силька! Женился. На ком женился? Мансийка, а лазит на крышу. Урас! Урас! ¹»

С тех пор начались нелады в семье. Семьи не стало. Наста ушла. Ходит один

¹ Урас — беда, наваждение, несчастье.

Силька по дому. Дом опустел. Холодно. За окном, распустив белую бороду, поет дед Север — северный ветер. Раньше Силька его не замечал. А сейчас он надоел. Так и поет: «Эх, Си-и-и-и-илька! Соболь от тебя не уходи-и-ил! Фашист от тебя не уходил. А жена ушла-а-а! Эх, Си-и-и-и-илька!»

И Силька тоже ушел из дома. Думал в каслании — в вечной дороге — будет легче. Да и родные рядом... Но и среди мелькающих деревьев тоже оказалось холодно.

Холодно сердцу. А почему? Наверное, потому, что Силька старался сохранить в чистоте старое понятие о мансийском имени, чести? И все это угождая матери. Теперь холодно... Неужели в сердце Сильки рождается ненависть к матери, к той, что родила его, носила за спиной в берестяной люльке, вырастила? А за чумом поет и поет дед Север, и по земле расстилается его белая борода. В ней запутались деревья, теплые струйки дыма. Запутался и Силька. Холодно. Соболь не уходил, а жена ушла. Ушел от него близкий, родной человек. Прожить ли ему без ласкового ветра, без солнечных теплых глаз? Нет! Наста перед глазами, она в памяти. В чем же виновата Наста, в чем же виноват Силька?

И снова поднимается ревность к молодому учителю. Ревность безглазая, глупая. Ничего не было. Была простая дружба двух людей, связанных общей работой. А он ревновал. Терзал ее тяжелым мансийским

молчанием. Кого терзал? Терзал Насту, простую мансийку, доверчивую, как котенок, ласковую, как весна. Но все это было давно. Все, наверное, забылось.

Холодно Сильке. Вдруг он услышал в душе знакомый поющий голос. Нет, это пел не дед Север — не северный ветер. Вспомнилось ему детство. Как хорошо было валяться на мягкой постели из шкур и слушать седого, как Урал, старого деда! К нему ходили манси. Они просили его поговорить с богами. Боги все могут: и разогнать злых духов, разносящих болезни, и дать хорошую добычу на охоте, и счастье в любви и в жизни... И дед исполнял желание людей. Он садился на низенькую скамеечку, что не выше дикой утки, брал в руки топор, связанный мансийским поясом, и, устремив острый, как солнечный луч, взгляд в угол дома, где на полочке почти у потолка стояла священная голова медведя — хозяина тайги, начинал бормотать что-то непонятное. Это он говорил с богами на божественном языке. Потом его песня становилась мелодичней и понятней, и люди вслушивались в таинственное предсказание богов.

В загадочном мире этой песни был и Силька. Он жил в мире богов, что ростом не выше беличьего хвоста. Они маленькие, но обладают великой силой. Перед ними трепетал и маленький Силька и все манси. Он мечтал быть похожим на своего деда, который призывал людей следовать старым

мансийским законам, уважать и слушаться своих богов. Они ведь так обижены невниманием.

— А теперь, — говорил дед, — многие не признают бога, не приносят жертвы, разоряют капища, борются со священными законами.

Но это было давно, в детстве. Многое изменилось. Силька окончил четыре класса школы. Правда, маловато. Не как другие. Но все же! Многое увидел он, шагая по дорогам войны от Москвы до Берлина. Теперь во многом он не согласен с дедом. Навсегда исчез страх перед богами. Но что-то все же осталось. Может быть, уважение к деду, к его умению, таланту, как обычно теперь говорят. Ведь дед так пел, говорил, что невозможно было не верить ему. Он мог своей песней сделать глаза людей мокрыми — мог заставить плакать, он мог спустить солнце в глаза людей — вселить в них радость, и на земле становилось светлее и теплей. А сколько он знал сказок, преданий про древнюю жизнь людей, о том, как они родились, откуда жизнь пошла, как жили! Он был похожий и не похожий на других. Он овладевал сердцами людей. В его власти было и детское сердце Сильки. Это было давно. Но и теперь эта власть дает знать о себе. Голова древнего медведя, что стоит в углу их нового дома, больше не приносит счастья и удачи в жизни. Она только ссорит Сильку с Настой. Наста не хочет, чтобы шайтан

жил в их доме. Человек сам все может. Не нужны ему шайтаны.

И теперь, перебирая в памяти былое, копаясь в своей душе, как запутавшийся в сети, он вдруг увидел свою обыкновенную Насту необыкновенной. Ведь теперь к ней ходят люди, а не к шаману. Она вылечивает их от недугов и болезней. Возвращает песню молодым, а старым — улыбку. Уколет длинной блестящей иглой — и больной начинает выздоравливать. А раньше при такой болезни люди умирали. Шаман был бессилён. Зато он красиво говорил и обещал. А Наста вылечивает. Раньше было много слепых. А теперь и не встретишь, как комаров зимой. Скольких вылечила одна Наста! Наста действительно все может. Она действительно необыкновенная. Почему необыкновенная? Обыкновенная. Таких теперь много.

Теперь все обыкновенны: и Наста, лечащая людей, и буровой мастер Урусов, нашедший в наших краях огненную воду — нефть, да и герой Гагарин, летавший в космос. Он ведь тоже обыкновенный человек. Совершил чудо. Раньше, когда верили богам и идолам, таких чудес не слышали и не видывали. Теперь верят человеку — и чудес становится больше и больше.

Раньше Силька не поверил бы, что человек может полететь на Луну. И вот Гагарин заставил Сильку верить в это. Теперь Силька знает, что скоро другие полетят до самой Луны, а потом и дальше.

Чудес стало много. И теперь никого не удивляют электричество в домах, радио на мансийском языке, гудящие железные нарты — поезда, капроновые сети.

А ведь совсем недавно Силька диву давался: обыкновенная сеть, похожая на мансийскую, но не гниет в воде, не надо ее сушить каждый день! И рыбачить стало легче. Теперь у Сильки, как у многих других, моторная лодка. Быстрее самых быстрых рыб мчится его лодка по полноводной Оби. И никому это не странно: все так быстро ездят. Теперь уже Силька мечтает о крылатой лодке, которая, как птица, неслась бы по воде бегущей гагарой. Такие лодки-ракеты уже летают по Оби, пассажиров возят. Только не все колхозы еще обзавелись ими.

И люди стали теперь другими. Много они умеют и знают. Когда-то его дед, самый умный и многознающий манси, не смог вылечить своего сына — он умер от простой простуды, — а вот Наста, девушка-мансийка, умеет. Великий шаман не умел летать, а сын бывшего батрака, маленький Епа, стал летчиком реактивного самолета, летает выше самых высоких облаков, дальше семи самых дальних морей. Мудрый дед не умел изобразить свой ум на бумаге, а теперь это умеет делать даже Силька.

Наста обыкновенная. Простые люди стали делать необыкновенные вещи. Такой уж век. А дед действительно был не таким, как все. Он наводил страх на людей, они дро-

жали как на морозе, слушая его священные речи, делали так, как он скажет. За это он брал с них и собольи шкурки, и мясо.

Пел он красиво для того, чтобы не опустела его лесная избушка, стоявшая на лосиных ногах, чтобы сытым быть, как осенний гусь.

Кто теперь так делает? Никто.

Наста лечит людей для того, чтобы не ходили по земле болезни, чтобы люди были здоровыми и жили бы счастливо.

Дед и Наста совсем разные люди, как луна и солнце. Солнце светит и греет. А от луны лишь холодный, обманчивый свет.

Соболь ходит по лесу. Соболь — зверь. Он от Сильки не уйдет. А люди от Сильки уходят. Соболь такой же, что и сто, может, тысячи лет назад. А люди стали другими. Теперь нельзя так жить, как жили прежде. Старые, может быть, и не понимают. Держатся за свои привычки. Но Силька еще не старый. Надо начинать жизнь сначала. Это понимал Силька и раньше. Но привычки, обычаи... Не хотелось обижать своих стариков. Теперь — всё. Из двух надо выбирать одно: или Наста, или старое мансийское имя, честь.

Наста тоже мансийка, а у нее новое доброе имя, за хорошее отношение к работе, к людям манси ее любят и уважают, почти все манси. Русские говорят: «Наста новая, хорошая мансийка. Высоко несет она честь советской женщины».

У Насты есть новое имя и честь. А Силь-

ка держался за старое. Был настоящим старым мансийцем и новое не отрицал. Почитал шайтана и верил в коммунизм. А теперь вот Наста задала задачу.

Сразу не разберешься. Есть мороз и тепло, есть добро и зло. Все же больше добрых. Тяжело. А то было бы тяжелее. Соболь от человека может уйти. А человек без человека не может жить. Если уйдет один — другие будут рядом. Только без Насты Силька все равно не проживет, как манси без рыбы, как рыба без воды. Нет! Манси все же проживет и без рыбы. Но какая это жизнь! Силька так не может.

Вот возьмет он топор и разрубит злого шайтана — наверное, тогда Наста вновь к нему вернется. Но не разрубит он веру древних манси. Топором лишь сердце можно разрубить. Разрубишь сердце — кровь струею брызнет и польется злоба. А там, где льется злоба, правду трудно отыскать. Просто он снимет с полки чучело шайтана и поставит его на колючий мороз. За любовь разбитую пусть мерзнет под ветром, за вековой обман пусть занесет его снегом.

Коли древний верующий человек найдется и этого идола «счастья» унесет к себе, Силька не будет злиться. Но нет! Так очень долго придется человеку жить в самообмане. Надо ему раньше глаза на мир раскрыть. Здесь нужно лишь слово, что сердечней сердца и прямей стрелы. Силька мало знает таких слов, не умеет, как

дед, острым словом убеждать людей. А надо знать!.. Надо ехать в свое село родное. Там народу много, как в тайге деревьев. Где народу много — там и ума больше.

Надо к Насте ехать! Надо поучиться! Надо жить по-новому.

Камень?.. Нет, Силька не камень! Просто он запутался... Ты слышишь, как воет вьюга? Не скоро утихнет вьюга... И попробуй в такую погоду отыскать дорогу.

В медведя слепо верил и в коммунизм шел... А мать прозорлива: «Какой ты коммунист, коль в медведя веришь?! И старую честь позволил растоптать — какой ты манси?» Кто же тогда Силька?! Одно, наверное: Куль!.. Нет, Силька не камень! Тем более и не Куль!

К Насте надо ехать! В будущее ехать! Между двух огней человеку не ужитья!

И наш Силька уехал. Запряг оленей — и уехал!..



УРОК

Школьный звонок... Кто не знает этого волшебника! Он запоет — и не летят снежки. Молкнут шумные голоса. Все преобразается. Голосистый волшебник уводит ребят в новый, неведомый мир...

Над тайгой и тундрой звенят колокольчики, как в школе. Но они зовут не в класс, а лишь говорят, как много оленей у людей.

Я никак не могу привыкнуть к этому богатому неумолчному перезвону. Наверное, скучаю по волшебной тишине, которая воцаряется в классе после звонка...

В каслании, где на каждом шагу загадка, а новости говорит только ветер, где каждое дерево кажется живым и думающим, урок приходится вести по-особому. И обычно у костра.

На обугленной перекладине висит котел чернее темной ночи. Его кусают красные лисицы. Котел шипит, дымится паром. Ноздри щекочет запах свежего оленьего мяса. Вокруг костра сидят олениводы. Они смотрят на пляску красных лисиц, греются их теплом и слушают шипение котла.

В эту музыку осторожно вплетаю свои мысли.

Тете Сане я подсовываю мансийский букварь.

— «Са-ли...»¹ — произносит она. Широкие глаза ее, как два щенка, смотрят удивленно. — «Са-ли»... И правда, подходит! — восклицает она торжественно, словно наконец-то поймала самого непокорного оленя, самого быстрого, стройного!

И она поет, как песню: «... Сали, сали, сали...» — и показывает на оленя, изображенного в букваре.

— «Ворт-олнут»², — читает она по складам. Раньше она не смела назвать медведя по его имени. А теперь читает...

Шипит котел, дымится паром. Прыгают красные лисицы. Трещит костер. Пламенеют лица... И, может быть, ярче всех узкое лицо Микуля. Глаза у него сегодня особенные. Словно два растаявших озера с обеих сторон одной сопки смотрят на меня...

¹С а л и — олень.

²В о р т - о л н у т — медведь.

А еще недавно они были ледяными, на-смешливыми: мол, зря ты решился каслать с оленеводами, учителю в стаде делать нечего. Олени не станут смотреть в бумагу — им надо щипать сочный ягель. Коротким «птичьим сном» спят оленеводы. Листать книгу — отдать волкам лучших оленей. Мало у людей времени. А ты их хочешь отвлекать...

Так был настроен Микуль — наш бригадир. Время действительно бежало. Часто спали под открытым небом, ели сырое мясо, мерзлый хлеб. Лишь горячему чаю уделяли немного времени...

Теперь стоянки стали продолжительнее. С неба дольше не уходит самый светлый человек, самый жаркий человек — солнце. И свободного времени теперь стало больше. Можно посмотреть, как бегают по ветвям самый быстрый олень — быстроногий ветер, можно послушать пение птиц и жаркий разговор костра.

Теперь Микуль чаще задает вопросы. И я рассказываю о древних греках, о горе Олимпе, состязаниях, играх...

Потом я показываю ему учебник истории. Он листает книгу, читает, смотрит картинки, удивляется и снова задает вопросы. И слушает, и все слушают о далеком, невозвратном времени...

Я рассказываю им о климате Греции, о вечном лете, об одежде, которую носили древние греки. Все удивляются, что есть где-то другая земля, непохожая жизнь...

— И все же наша земля лучше, богаче! — говорит Микуль. — И снег, и белые ночи... А сколько в реках рыбы, а в тундре — оленей. А сочная морошка, кедровые орехи!.. И комаров хватает! Все у нас есть!

...Нельзя слушать сразу двух шаманов — острый ум тупей земли станет. Нельзя класть щуку рядом с осетром — дети не будут слушаться, люди не будут слушаться — так говорят в народе. Поэтому, быть может, Микуль при людях со мною спорит, говорит, как лось с лосенком. Все должны видеть: бригадир много знает и лучше всех умеет не только брать оленя за рога, но и говорить с книгой. А когда нет никого, Микуль меня слушает, словно сам читает. С некоторых пор мы вместе пасем оленей. С некоторых пор он стал меня слушать.

...Как перевести в четвертый класс Йикора? Он не признает учебников. Мол, по ним пусть учатся ровесники оленят. А он только газеты читает да журналы смотрит. «Надо этот интерес учесть», — думаю я.

— Тавай, расскашу эту статью. Она интересная! — говорит Йикор. (Со мной он говорит только по-русски.)

И на ломаном русском языке начинает пересказывать содержание фельетона, прикрашивая его мансийскими сравнениями. И фельетон становится ярче. Потом Йикор пишет изложение. Я правлю его ошибки.

Их много. Иикору нравится переписывать «правленные слова».

... Занимаюсь я и с Итьей Татъей. Хотя с ней мы занимаемся по обыкновенной программе десятого класса и мне не надо выдумывать особенной методики, но и с ней трудно: она единственная девушка в нашей бригаде. Когда на меня смотрят черные глаза Итьи Таты, сердце стучит, а голос как колокольчик звенит.

... Самый любопытный, самый прилежный ученик — Епа. Ему девять лет. Но он уже пастух.

Плохо оленеводам без собак. Особенно когда нужно ловить оленей. Собаки останавливают стадо. Не дают сбежать оленям с поляны, где их ловят юрким тынзяном.

Но не всегда ведь можно лаять. Дурным лаем можно разогнать оленей. Собаке ум нужен, собаке глаз нужен. Чтобы собаки лаяли вовремя, гнали оленей в нужном направлении — это обязанность Епы. И он с ней хорошо справляется: и собаки умно лают и не разбегаются стадо!

Епе девять лет. Но он еще не учится в школе. Он, конечно, очень хотел бы слушать песню волшебного звонка. Но Яныгтурпка-эква не хочет отдавать его в школу.

— Я его вырастила — я и буду учить, а не ваша школа, — так сказала она.

А теперь вот Епа уже читает по складам. Не оторвешь от букваря. С ним он даже спит... Я рассказываю ему о светлых классах школы, о кино, телевизоре, тепло-

ходах и космических кораблях... И Епамечтает учиться в настоящей школе. А бабушка Яныг-турпка-эква смотрит на нас пристально. Не говорит ни слова. Только трубку свою сосет и плюется.

Молчит и Вун-ай-ики. С тех пор как ушел Силька, он молчит и редко выходит из чума. Глаза его смотрят глазами оленя, когда земля покрыта ледяной коркой. Много у Вун-ай-ики есть своих оленей, много есть колхозных. Много, много мяса есть у Вун-ай-ики. Вун-ай-ики сыт!.. Так почему же Вун-ай-ики смотрит глазами голодного оленя?!

— Нэпакынгыг ёмтынг тэнгхи — хочет стать бумажным, — ехидно смеется Окра над своим мужем. — Скоро в бумажных кيسах ходить будешь — до чего доучишься!

Круглое лицо ее — румяное и розовое, как закатное солнце. На приплюснутом, словно обрубленном, кончике носа желтыми цветочками горят веснушки. А голова ее как лохматое воронье гнездо. Она кажется седоватой от запутавшейся в волосах оленьей шерсти.

Я смотрю на Окру и думаю: «Такая молодая (ей всего двадцать семь лет), а мыслит, как старуха! Как к ее сердцу найти ключи? Как вырвать ее из цепких рук Яныг-турпка-эквы?..»

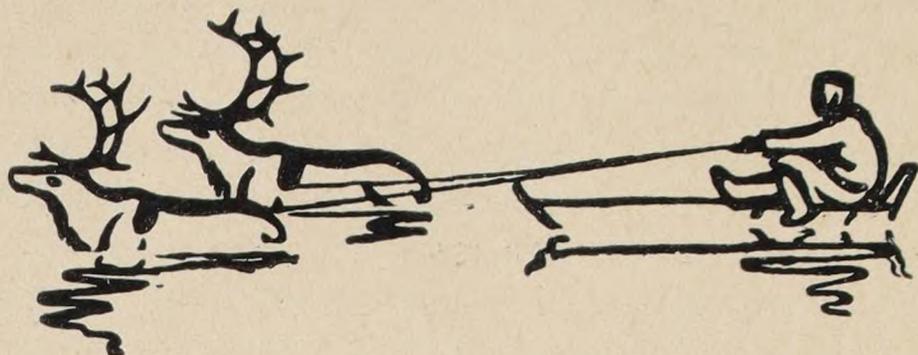
Я уже знаю, что она родилась в касла-нии, и росла вместе с оленями, и никогда не жила в деревне, и не слышала волшебного звонка новой школы... Поэтому, быть

может, узор из лягушачьих лапок, который она осторожно выводит тоненькими лоскутками сукна на блестящем меху, ей кажется красноречивей букв и мудрее книг. Окра только их читает, а на меня кидает колючий свет своих раскосых глаз.

Нет, Окра совсем не злая. Она по-своему добрая. Если ворчит, как лягушка в пруду, то только потому, что она женщина, имеющая детей, женщина, занятая важными делами. До пустой бумаги ли ей! «В бумагу не оденешься, ею сыт не будешь!» — так она рассуждает...

Бедная Окра, древняя Окра!.. Как к ней подойти? Как увлечь ее в наш мир? К тете Сане, кажется, я подобрал ключи... Надо искать пути и к душе Окры... Надо искать, думать.

Это интересно! В нашей необычной жизни, когда рядом кочуют синие ветры, столько нерешенного, загадочного!..



ПЕРЕПРАВА

Хал-хал, тень-тень, хал-хал, тень-тень — это голосистые гуси поют песню радости, песню счастливого возвращения на родину. Они цепочкой серых бус тянутся над тайгой. Любуются не налюбуются голубыми глазами озер, синими лентами речек, зелеными руками кедров. А небо плачет счастливыми слезами весеннего дождя. С зеленых ресниц слезу радости смахивают и старые лиственницы, и молодой тальник, под которыми вьют гнезда гуси. От нахлынувшей нежности снег размяк, а лед стал рыхлым, зазвенели ручьи и вздулись реки.

Тень-тень-тень... — поют лужицы под каплями дождя.

Тень-тень-тень... — поют уже широкие забереги последней большой реки.

Хал-хал-хал... — поет рыхлый лед под копытами оленей.

— О-о-о, — поют пастухи. — Быстрее надо переправить стадо, пока река не раскрылась до конца...

Пуш-пуш-пуш — тонут три оленя. Их уж не спасти: попали в полынью...

«Пуш-пуш-пуш... А не утонем ли и мы?!»

— Э-э-эй! Надо быстрее переезжать!..

Тюр-тюр-тюр... — поют сани в воде.

«Сюр-сюр-сюр — мы по пояс в воде».

«А-на-на! Не уплывут ли дети?!»

Нет, дети не уплывут: впереди едет сам Микуль. Если что, то сначала его не будет.

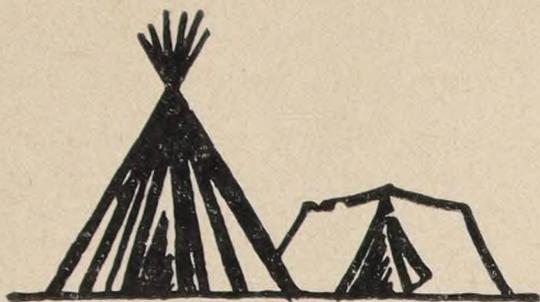
«Пуш-пуш-пуш... — Олени фыркают в воду. — Мы уже на берегу. Сюр-сюр-сюр — с нас стекает вода...»

Ого-го-го-гооо! Ха-ха-ха-ха, хи-хи-хи-хи! — летят в лица мокрые снежки, бусинки брызг, купаются олени, купаются люди. Смеются в нартах дети... Как из корыта вытаскиваем мы их. Стрелами летят снежки, струями — брызги. Купаются олени, дети, пастухи — у нас сегодня праздник: перешли большую реку, недалеко Нер-ойка, старик Урал...

Уже пылает костер. А рядом ставят чумы. Хорошо!.. Вымокли хлеб, сухари, сахар. Плохо.

А были бы дюралевые ящики в нартах, какие есть у оленеводов Чукотки, продук-

ты были бы сухими. И нарты были бы легче. Людям хорошо, и оленям неплохо! Правильно подметил это Арсентий в Магадане на совещании оленеводов! Правильно твердил об этом деле Арсентий! Председателю надо было прислушаться...



КРАСНЫЙ ЧУМ

На берегу светлой, словно бусинка, реки стоянка будет дольше. Поэтому мы решили здесь начать пропагандировать новую жизнь оленеводов.

Микуль и Йикор уже ставили чум. Вун-ай-ики вынимал из нарт шесты. Наверное, они с Ай-отом поставят свой: тесно всем в одном чуме. Мирились с теснотой, когда нужно было непрерывно двигаться со стадом вперед, к старику Уралу.

Я попросил брезентовую палатку. Микуль удивился:

— Что это вы задумали? Ведь Вун-ай-ики специально свой чум ставит, чтобы было посвободнее. Кто же в нашем чуме останется?

Но палатку дал.

Мы с Арсентием принялись за дело. Пригодились навыки, полученные в туристических походах. Ставить палатку помогала Итья Татья. Она вносила какой-то задор, вдохновение. Узкие брюки, заправленные в резиновые сапожки, темно-синяя кожаная куртка делали ее непохожей на мансийку.

Новое жилище наше получилось уютным. Посредине просторной палатки стоит стол, накрытый зеленой скатертью. На столе — журналы, газеты. Правда, они старые, вышли два-три месяца назад, и их многие уже перечитали, но все же... В отличие от чума в палатке светло: у нас настоящие окна. А главное, у нас говорила Москва: Арсентий отремонтировал радиоприемник. В чуме и так мало места. Поэтому приемник больше в нарте стоял, чем говорил новости. Мы не были уже оторваны от Большого мира.

Тетя Сана сначала сердилась, что мы ушли от них. Она все хочет, чтобы я был около нее. Ей приятно что-нибудь делать для меня. А я отделяюсь. И многое мне не нравится. Ей, наверное, это больно. По хмурому лицу и глазам я понял, что обидел ее, хотя она не сказала ни слова. Когда же услышала музыку в нашем чуме и увидела простор, уют и чистоту, воскликнула:

— Правда хорошо. Светло!

И кажется, подобрела. Но что-то все же осталось. Может, просто сожаление, что

она не может радовать меня, как в детстве.

С этого времени по вечерам все стали собираться в нашем чуме. Разговаривали, спорили, читали книги, слушали Москву. Даже Яныг-турпка-эква приходила. Рассказывала сказки. И все слушали старушку: кто всерьез, а кто с улыбкой.

Москва всем нравится. Тетя Сана говорит: «Долго же у них медвежий праздник продолжается. Весело там жить!» Все, конечно, смеются... Странная моя тетя. Как отстала она от своих подружек, живущих в деревне. Может быть, это не она виновата, а оторванность оленеводов от жизни остальных колхозников. Виновато каслание.

В палатке живем четверо: Итья Татъя, Ларкин, Арсентий и я. Наше жилище все зовут красным чумом...



НЕ БЫЛО ВЕРТОЛЕТА — ПРИДУМАЛИ ВЕРТОЛЕТ

Над тайгой летит большая зеленая стрекоза. Олени подняли головы, наострили уши. Лают собаки. Радуются необычной птице Епа и Мань-аги. Старуха Яныг-турпка-эква поглядывает на голубое небо с опаской: грех летать над чумом, над чистыми оленями: что-то опять будет! Арсентий, Итья Татъя, как и я, не могут скрыть волнения: вертолет летает над чумом. Значит, к нам летят люди и радостные вести!..

Когда железная стрекоза успокоилась на небольшой поляне, летчика, секретаря райкома комсомола Ай-Теранти и киномеханика Зосима обнимали, целовали.

Бахромой платка женщины вытирали слезы. А мужчины умеют радоваться и без

слез... Не было конца радости свежим журналам и газетам, продуктам и добрым вестям, а главное — кинокартинам, которые будет показывать на живой машине, рисующей жизнь, киномеханик Зосим.

Давно мечтали олениводы о кино. Аппарат был. Но не было киномеханика: кто пойдет каслать на целых восемь месяцев, кто оставит привычную шумную жизнь?

Долго не находили киномеханика. И тогда решили олениводы своего выучить и послали на курсы Зосима.

Вот он и приехал. Теперь кино будет. И в нашем красном чуме жизнь закипит по-уральски ярко!..

Давно олени щиплют ягель: Давно они бродят по земле. И появились они на земле, наверное, вместе с людьми. А вертолета не было: его придумали люди.

И в олениводстве что-нибудь тоже придумают!..



ПАМЯТНЫЙ УЖИН

Вертолет помимо всего прочего доставил оленеводам и продукты: хлеб, картофель, капусту, малосоленного муксуна, консервы, даже лимоны.

Итья Татьяна приготовила ужин. Все собрались в нашем красном чуме. На столе муксун, нарезанный тонкими ломтиками и аккуратно сложенный в эмалированную тарелку, дышащий паром картофель, и котлеты в соусе из оленьего молока, лимоны, компот из черешни, спирт. И хотя скатерть заменяли обыкновенные газеты, стол получился богатым, праздничным.

— Ничего, ничего! Оказывается, тоже вкусно. И тебе надо поучиться готовить такое кушанье, — говорит Микуль, обра-

щаясь к тете Сане. — А то столько молока оленьего пропадает!

Тетя Сана ревниво поглядывала на Итью Татью.

— А что учиться тут! Надо, так и я сделаю.

Она ела больше малосольного муксуна с картофелем. Видно, соскучилась по родной Оби.

— А соус-то! Соус!.. Неужели это из оленьего молока? — удивлялся Ай-Теранти. — Такого нет даже в ресторане! Вот это кадры! Вот это комсомольцы! — шутил он.

Широкое, чуть скуластое его лицо расплывалось в добродушной улыбке.

Все ели с аппетитом. Благодарили Итью Татью. А она, как настоящая хозяйка дома, нисколько не смущалась, отвечала шутками. С восхищением смотрел на нее Арсентий.

А я словно онемел... Нет, не от вкусного ужина.

Каждый раз Итья кажется мне другой. Давно знаю Итью Татью и вроде совсем не знаю.

Была она рыбачкой...

Над белым, запорошенным тальником жмурится скупое солнце. Слева и справа радужные круги. Это золотые рукавицы — говорят в народе. Солнце мерзнет. Потрескивают деревья. Кажется, трещит яркий, искрящийся снег. А зарумянившееся небо словно звенит... Нет! Это звенит не

небо — это поют льдинки под тяжелой и острой пешней, пляшущей в руках девушки. Прозрачными хрусталиками ложатся они на шершавый снег... Долго не смолкает песня хрусталиков: лед толстый, местами промерзает больше метра. Еще удар: пешня устремляется вниз, вверх летят струи холодной, прозрачной воды. Через мгновение они заполняют лунки. Итья Татъя продалбливает до конца. Очищает от остатков льда. Потом принимается за вторую, которую надо продолбить метрах в пяти от первой. То же самое делают другие члены звена. Потом девушки долго-долго тянут невод. Над прорубью струится белый дым. Это мороз играет с водой. Живыми и подвижными сначала кажутся и тетива¹ и сеть. Но через мгновение тетива леденеет, а сеть делается сухой. Это мороз высушил ее своей игрой...

Почему же девушки не мерзнут? Не ледяные ли они? Может быть, и мерзнут, и, конечно, не ледяные они. Только рыба-то нужна. Вон она плещется в мотне: и щуки полосатые, как осенняя трава, и язи тупоголовые, сверкающие солнечным светом от золотого заката, и усатые налимы со слизистыми хвостами, и нежные сырки, что серебрянее снега...

Солнце в золотых рукавицах, потрескивают деревья, звенят льдинки, струится ра-

¹ Т е т и в а́ — веревка, в которую вплетена ме-режа.

дужный дым над прорубью — хорошая погода!..

А иногда... Луи-вот-пыг рассердится, станет злой-презлой, загудит, завертится ледяной юлой. И свищут ветры, и танцует снег...

А северянки и в такую погоду не пляшут от мороза. Северянки ловят рыбу. Так вот какие наши рыбачки!..

Училась Итья Татьяна в нашей школе-интернате. Но из пятого класса ушла. Ушла в родную деревню Ситам-тур. Почему она ушла? Может, ей просто приснился дурной сон? Может быть, приснилось ей: белая выюга, как седой сказочник, поет сказку.

Два белых домика, как два белых оленя по крылатые рога занесенные снегом, мерзнут и слушают сказку. Слушают сказку и маленькие братишки и сестренки Итьи Татьяны. Их много-много, как снежинок над домом. Они зовут ее... В доме прибавится еще одно родное сердце. Теплее будет. И сказки станут еще веселее... А как она приедет — деревья вздрогнут и уронят на землю снег. Снежинки упадут и зазвенят, зазвенят ручьями... Все кругом запоет: небо голосами птиц, реки — звоном льдинок, а лес — голосом кукушки...

«Надо ехать, ехать», — решает во сне Итья Татьяна.

«Правильно, правильно, дочка! — говорит тихим голосом отец. — Ты окончила четыре класса. Хватит тебе учиться! Со всем уже грамотная!» И его продолговатое

лицо с чуть заметными скулами расплывается и белым облаком улетает в сказку.

Итья Татьяна ушла из школы. . .

Потом приходилось наверстывать упущенное. Днем работала, а вечером училась. В каникулы она взяла с собой учебники за десятый класс. Но как мне заниматься с ней, если перед ее глазами я то немею, то голос мой предательски звенит. . .

Интересные все же люди: они каждый день могут быть новыми! Давно я знаю Итью Татьяну и, кажется, совсем не знаю. . .



ВАЖЕНКИ

На другой день мы встали рано. На стороне нового дня — на востоке — небо розоватое, а над нами голубое, мягкое небо. И утренний воздух, обычно сухой, сегодня тоже мягкий. И снег под ногами мягкий. . .

Т-р-р-ру! — пело вдали дерево. Т-р-р-ру! Т-р-р! — пело рядом дерево. И весь лес выводил многоголосую песню. Каждое дерево говорило, радовалось своему новому пробуждению. . . Весна! Скоро родятся новые травы, деревья, олени.

Скоро массовый отел. . .

Мы идем осматривать места отела, определить состояние кормов, наличие укрытых мест для оленей на случай бура-

нов. Впереди — Микуль и Арсентий. Нам с Ай-Теранти они рассказывают, разъясняют, где лучше пасти важенок.

Вот южный склон холма, полого опускающегося к лесной речке. Здесь раньше всего запевают ручьи свою весеннюю песню, раньше всех поднимает к небу зеленоватые руки прошлогодняя трава, не успевшая пожелтеть и сохранившая свою зелень под толстым снегом. Ее-то очень любят щипать важенки и молодые оленята. Если белыми ногами заплешет вьюга, то важенки и новорожденные оленята могут укрыться в оврагах, в долине лесной речки, где гуще кустарник и много зеленого корма...

В дни, когда солнце особенно ласково и даже в открытых местах корка наста становится нежной, оленей выпасают на участках открытой тундры, в редколесье, где тоже бывают хорошие корма.

— А в этом логу, где карликовые сосенки растут на белых кочках, словно плавающих по воде, нельзя пасти оленей, — говорит Арсентий. — Оленятам, как и детям, вредна сырость. Могут простудиться, заболеть...

Вечером оленеводы соберутся в красном чуме. И всей бригадой будут обсуждать маршрут движения стада и порядок использования выбранных участков...

Не любят оленеводы много говорить о делах. Но сегодня поговорят, обсудят...

Все хотят, чтоб было на земле не толь-

ко много людей, но и оленей. А стадо может вырасти весной, если на славу потру-
дятся пастухи, если взлелеют они нежных
оленят, если уберегут их от жестоких рук
мороза.



ТАЕЖНИК ОТКРЫВАЕТ ГОРОД

Когда лес стал темным, как медведь, а небо покрылось бледными весенними звездами, Зосим сказал: «Теперь можно начинать».

Затрещал мотор, загорелась в палатке электрическая лампочка, но никто не бросился в палатку, все смотрели на полотнище, повешенное между двумя елями: и стар и мал знали, что здесь появится чудо, люди, другая жизнь...

Все смотрят на Зосима, как на волшебника. А он копошится у мудрой машины, присматривается. Что-то потрескивает, шелкает.

Вдруг бледное полотнище засияло, словно зажглось дневным светом. И все померкло: свет жаркого, яркого костра, и

сияние звезд, и влажные глаза весенней ночи. . .

На экране плыла сверкающая, полноводная река, одетая в гладкий камень. И дома, словно каменные горы. . . И народу тьма, словно рыбы в море.

— И зачем столько народу собирается вместе? — удивляется тетя Сана. — На праздник какой, что ли?

— Ни травинки, кругом камни. . . Больно, наверное, ногам? Не с копытами ли они? — спрашивает хриплым голосом Яныг-турпка-эква.

— А это что за коромысло над Обью?

— Это мост. И река эта не Обь, а Нева, — разъясняет Ай-Теранти.

— И машин много. . .

— Как муравьи в муравейнике. . .

— Кругом камни, камни. . . И как здесь люди живут?

На экране плыл город моей юности — Ленинград.

Ленинград. . . Мой Ленинград. . . Ты раскрывайся им, а я расскажу, как тебя открывал таежник.

И свою песню мне хочется начать с извинения. Ты мне в первый раз показался жестоким и некрасивым. Да, да, жестоким.

Твои улицы были шумными, как сварливые старухи, они кипели людьми, как муравейники муравьями. Я натыкался на людей. Они с удивлением смотрели на меня. И я смотрел на них. Нет, не смотрел

я, а глазел. Глазел на разукрашенные витрины магазинов, на стены домов, на асфальт. В кино и на рисунках они были такими чистыми, красивыми, твои улицы, мосты, дворцы. И вот вместо красоты мне бросились в глаза пыль и копоть на стенах домов и осыпавшиеся красные кирпичи во дворах домов.

Асфальт твоих улиц виделся мне сияющим, зеркальным. Вот, думал, как хорошо — не надо зеркала: посмотришь вниз — увидишь себя.

Как я был разочарован, когда увидел тусклый камень вместо сияющего зеркала.

Я был в недоумении. Но однажды вечером этот секрет раскрылся. Я шел по Невскому, и вдруг, откуда ни возьмись, хлынул ливень. Я прижался к стене, под навес.

— Опять небо прорвалось, — сказал кто-то рядом со мной.

— Сейчас перестанет, — откликнулся другой.

Правда, немного погодя, асфальт перестал пузыриться и кипеть, как котел. Зажглись огни! И словно тысячи лун сразу осветили Невский. И асфальт сиял, как в кино. А в радужных брызгах летели такси. Их зеленые глаза — ярче глаз звериных. Все блестело, искрилось. . . Но это еще не примирило меня с тобой, мой город!

Дома твои мне показались выше снеговых гор. И на твоих улицах я был словно в ущельях. Кругом камень. И не видно солнца, хотя где-то над домами оно лениво

бродило в дымке. Я привык к другому солнцу, к солнцу, отраженному в зеркальной глади воды, к солнцу, дробящемуся в листьях деревьев на тысячи маленьких светил. Солнце глядело в мою постель. Оно будило меня, звало на улицу, туда, где небо звенит птичьими голосами, вода искрится и плещутся дикие утки, и простор синий, безбрежный, и новый день не похож на вчерашний.

Такого солнца я поначалу не увидел. Грустно было, очень грустно.

Вот и автобус... Хочешь, я расскажу мансийскую сказку?

Однажды по Оби ехали манси на большой лодке — сáранхап. Было тихо-тихо. Вода блестела, как жир. Вдруг гладь воды стала гнуться и ломаться, а потом забурлила, запенилась: навстречу манси неслась гигантская рыба-зверь. Она плевалась струями воды и проглатывала все, что попадалось на пути. Проглотила и эту лодку с людьми.

Сидят манси в животе этой рыбы и думают: что делать, как выбраться? К счастью, в лодке были острые топоры. Прорубили люди рыбий бок. Как радовались они освобождению, как вздымалась и опускалась их грудь, как сияли их глаза!..

Такую же радость испытал я, когда вышел из твоего автобуса.

Таким я увидел тебя, Ленинград. Плохо мне было. Ночью ко мне являлось солнце. Оно смотрело в мою постель. И утки ле-

тели, и небо звенело, и сияла вода. А то вдруг зажигался небесный огонь — северное сияние. Оно вставало над моей головой огромным разноцветным чумом, переливаясь всеми цветами. Сияло небо, плясали краски, горел снег, потрескивал спокойный, сухой морозец. Опять было хорошо, как в сказке, как в жизни.

... Но я просыпался, и сказка кончалась. В окно на меня смотрели тусклые кирпичи соседнего дома...

Однажды ты познакомил меня со своей дочерью. Она почему-то напоминала пушкинскую Татьяну. Я ее полюбил еще там, среди снегов и ярких северных сияний. Я мечтал встретить такую же. И вот она вправду явилась и повела меня по твоим проспектам, мостам и паркам.

И сразу все преобразилось. Ожили во мне строки твоего гениального певца.

И бродил я, как заколдованный самым сильным в мире шаманом.

... Эрмитаж. Я и раньше слышал об этом сказочном дворце искусства. Но как я был поражен, какие видения возникли и навсегда врезались в память, когда все это предстало перед глазами. словно передо мной было северное сияние — самое яркое, живое, вечно движущееся искусство Природы.

... Однажды твоя дочь повела меня на Кировские острова. Я был увлечен, смотрел в ее тихие, смолистые глаза, и не заметил, как мы очутились в зелени деревь-

ев, среди щебета птиц, и в окружении прудов. Я снова почувствовал солнце, оно с веселого пруда улыбалось мне: «Узнаешь?» Я был благодарен ему, что оно не забыло меня и в далеком городе улыбнулось мне, как в детстве.

Плыла над прудами музыка. Медленно, подобно гордым лебедям, по зеленоватой глади воды двигались лодки. Я увидел весело барахтающихся в воде мальчишек. И мне тоже захотелось купаться.

Но твоя дочь сказала, что купаться нельзя. Это пруды.

— А почему они купаются?

— Это же мальчики. Им не разрешают, а они все равно лезут.

Настроение мое сразу упало. У нас на Севере не надо ни у кого спрашивать разрешения: где хочешь, там и купаешься. А здесь нельзя...

— А вот и пляж, — сказала моя спутница, кивнув в сторону сияющей глади воды.

Это была Нева. Она нежилась под солнцем. На берегу люди. Наверное, здесь тысячи людей. Я никогда не видел так много народу. Как чайки на песчаном берегу Оби, белели они на пляже.

— Это и называется пляж? — спросил я.

— Да. Здесь можно купаться. Хочешь?

Не дожидаясь ответа, она быстро разделась и оказалась в воде. Плыла она, как золотистый бобер. Барахталась. От брызг — радуга. Хорошо стало. Словно я был опять

на родине. И брызги летели, и солнце смеялось, и песок хрустел, и листья светились. Как хорошо! Не так уж жесток и неприветлив ты, каменный город. В тебе, оказывается, есть запах и моей родины: запах воды, солнца, трав. В тебе, оказывается, есть даже и простор: вон какая гладь — конца не видно.

С тех пор я дышал свободнее. И ты, Ленинград, для меня стал светлее и просторней. . .

Институт. Мойка, 48. Здесь я учился. Интересно быть студентом. Новый мир раскрывается перед тобой.

В детстве мне казалось, что рыбаки и охотники самые мудрые люди на земле. Лес, небо, медведи, соболи, олени, рыбы — это главное, что есть на земле. Моя деревня — это центр земли.

Большие люди на земле — манси, так же как среди светил Солнце, среди рек — Обь, среди рыб — осетр. Есть на земле народ хатань. Это татары. Есть еще черные люди — ненцы, скачущие на оленях, белые люди — зыряне, привозящие из-за Урала различные драгоценности и сукна, и где-то далеко-далеко есть тунгусы. Есть, конечно, и русские. Они учат людей смотреть в бумаги и печат их.

Такое представление пришло ко мне из сказок, которые каждый вечер рассказывал мне дедушка. Как я ошибался в детстве! Каким широким оказался мир! Сколько тайн было недоступно, неведомо для ума и

сердца охотника! Он ведь хорошо знал то, что видел глазами. А много ли увидишь глазами, пусть они даже самые зоркие! И много ль земель исходишь ногами? Много снежинок на земле. Не сосчитать даже тех, что хрустят под ногами. А откуда знать мир! Он бескраен и огромен. Манси знал землю до Урала, а дальше она казалась ему сказочной, непонятной.

В школе мир широко раскрылся передо мной. И тебя, мой Ленинград, я уже чувствовал. Любил слушать песни о тебе, мечтал у тебя учиться.

И приехал к тебе. Ты познакомил меня и с ненцем, и с тунгусом, и с чукчи, и с эскимосом, и с нанайцем. Много у меня стало друзей.

Мы живем и учимся в одном доме. Тунгус такой же, как и манси. И ненец — хороший человек. Старая сказка была лживой. Ты помог мне распознать эту ложь.

Ленинград! Ты хороший учитель. Ты меня научил слушать сердца твоих больших людей.

Блок... Странно... Человека давно нет в живых, а я разговариваю с ним, слышу его сердце. Всю ночь мы бродим вместе. А ночь белая. И мгла, и синь, и мосты... У меня в руках простая книга... Это она говорит со мной. Я волнуюсь, люблю и ненавижу, плачу и смеюсь. И кажется, я слился с этой набережной, с этой синью и с людьми. Но нет! Вон там двое. Они це-

луются. А я — один. И Блока нет. Со мной — книга...

Я слушал сердце Блока и чувствовал себя. Я — человек...

А что, если послушать свое сердце? Я — северянин, у меня возникают мысли, которых, может быть, у других нет. Даже у Блока... А если все перенести на бумагу? И она, быть может, заговорит — и языком моего маленького народа. Я стал вслушиваться в себя...

Странно... В Ленинграде, далеко от родных мест, я вдруг почувствовал красоту языка моего маленького народа.

О город каменный, ты помог нам увидеть то, что мы не видели раньше и не чувствовали. Нет, мы совсем не перестали быть северянами. Наоборот, мы стали как-то ярче. Ты нас научил слушать себя, и мы чаще стали спрашивать: «Кто мы?»

Кто мы? И ненец Василий Лебедев, и хант Гена Раишев, и эвенк Владимир Хромов. Кто мы? Мы однокурсники. Мы студенты. Мы северяне... Студенты... А до этого были маленькими охотниками и маленькими рыбаками. И матери и отцы наши были охотниками и рыбаками. И, кроме этого, очень мало что знали. Студент... Наши родители не слышали такое слово. Когда моего отца спрашивали, где учится его сын, он отвечал: «В конституции».

Ему негде было учиться. Он батрачил у кулаков. Его проиграл в карты мой дед.

Деду нечем было платить. Сыну приходилось отрабатывать... А кто же был мой прадед?

Только в самых древних сказках и песнях манси жили во дворцах из сияющего камня. Тогда умели мои предки ковать железо, сеять хлеб. Скакали на быстроногих огненных конях и пасли стада овец. Потом потеряли солнце и дворцы. Пошли искать их, забрели в тайгу и болота. Обратной дороги не нашли. Холод, снег, бессердечный людоед Менкв преследовал их, выгонял из насиженных, обжитых мест, оставляя золу и пепел. И манси разучились ковать железо, шить из шерсти красивую одежду, позабыли запах вкусной еды, а стали есть сырое мясо и рыбу. В своих песнях они уже пели:

Мы уйдем, покинем землю,
Чтобы больше не родиться,
И на быстрых конях-лыжах
Не скользить за соболями.
Наши лодки, как могилы,
На песках сгниют тоскливо,
И в деревнях опустелых
Будут жить одни лишь мыши.

«Будут жить одни лишь мыши», — вырвалось когда-то из истерзанного сердца моего далекого предка... Я — мышь? Нет! Я — человек! Я выжил! Значит, предки все же верили, что холоду не вечно царствовать... И взойдет однажды не холодное, а

теплое, щедрое, разноцветное сияние. И тьма растает. И люди станут братьями.

И потому, наверное, северные женщины, завязав в берестяные люльки своих малышей, закинув их за спину, шли в болота. Туда, куда никто не доберется. . . И там начинали новую жизнь.

Так много раз, наверное, умирал я, так много раз, наверное, вновь рождался, и женщины несли меня, веря, что взойдет волшебное сияние, и я заговорю, раскрою сердце древних, а добрый мир будет слушать древнюю исповедь.

Вот кто мы! . .

А сегодня, как тепло сегодня!

Ленинград! Ты меня слушаешь. Слушаешь меня и всех моих братьев-северян. Пу-масибо! Большое спасибо!

Капли рождают реку, реки рождают море, ширь и глубину. Ленинград! Твоя река стала моей родной. И чем-то напоминает мою Обь. И я невольно шепчу:

А теперь в полдневном солнце
Предо мной Нева смеется,
Кажется, у ног сверкая,
Катит волны Обь родная,
Плечи мне обвив руками.
Так же щедро ветерками
Невскими я зацелован,
Той же ширью очарован. . .
Пусть не люльку у причала —
Ты, Нева, мой ум качала.
Крылья мне дала навечно.

О, спасибо, друг сердечный!
Схожи рек различных воды,
И добры сердца народов, —
Потому я всюду дома —
Все родные, все знакомо.

Реки сливаются. Сливаются и судьбы народов. Жизнь становится глубже и шире... Тепло...

На твоих улицах, во встречах с твоими сыновьями, в беседе с легендарной «Авророй», с вечным огнем Марсового поля яснее и яснее чувствую, что такое Россия, Ленин, Октябрь...

О город мой! Не рассказал тебе я сказку — ты ярче любых сказок! И не сложил тебе песню — песня моя впереди.

Только скажу одно: ты великий учитель. Ты научил нас писать книги, рисовать картины, говорить голосом учителя перед любознательными детьми.

Ты открыл глаза нам, как младенцам. Мы проснулись словно после тысячелетнего сна.

И оленеводы нам кажутся странными, словно они пришли с другой планеты. Как они смогли остаться такими? Почему мало движения в их жизни?

Преобразился ведь мой родной Север. Ярче северных сияний блещут фонтаны нефти. И в домах тепло не от дров, а от пламени земли — синего газа. И ночью ярче звезд светятся окна — в поселках играет электричество.

Рыбаки, и охотники, и лесорубы, и плотники, доярки и конюхи живут новой жизнью. Читают газеты, смотрят в клубе кино, веселятся и работают...

За новой дружной стаей, летящей в будущее, оленеводы не успевают... Меня это очень волнует. Не могу быть равнодушным!

Дорогой учитель, я опять обращаюсь к тебе, как всегда в трудную минуту: разъясни мне, как быть, как по-новому организовать жизнь и быт оленеводов? Разъясни, ведь ты все можешь.

Давно потух дневной свет на белом полотнище, опять ярко, как прежде, горит костер. К его ласке льнут оленеводы. Их лица пылают светом жарких лучей. От черных лап елей пахнет сырой, ранней весной.

Я рассказываю о великом городе.

— Неужели так живут люди? Неужели все это правда? — удивляются оленеводы. — Это просто хорошая сказка! ..

Да, оленеводы пока воспринимают многое еще как сказку. Но они откроют, откроют тебя, Ленинград, и будут благодарны, как я...



М А Й

Всю ночь я слышал музыку. Она звенела травами, колыhalась знаменами и пахла цветами... Это май. В сердце — ожидание... Ожидание чего-то светлого, особенного...

В детстве, в школьные годы таким мне снился май. И вот, как тогда, я много раз просыпаюсь. И жду не дождусь утра. Словно у нас в каслании также будет веселая демонстрация в колонну по четыре, со знаменами, с медными трубами оркестра.

Чего очень ждешь — рано или поздно придет, наступит. Наступило и это первомайское утро.

... Я вышел из чума. На просыпающемся небе ни облачка. На реке по-прежнему

синий лед. Только забереги, кажется, стали шире. Они струились, дышали. Лужицы словно хрустальные, а земля твердая. Подморозило. . .

Где-то совсем рядом токовали глухари, радуясь солнечному майскому утру. Это праздничная песня тайги маю. А синяя речка говорила голосом чаек. Они летали над струями заберег, заливались счастливым смехом: видно, нынче будет много рыбы и для чаек, и для людей. А над чумами, высоко-высоко в небе и совсем низко носились стаи уток. Они то камнем падали друг на друга, то разлетались: то ли дрались, то ли целовались. Наверное, целовались! Небо звенело. Это свадебный танец. . . Праздничный танец. . .

И я стою, зачарованный весенней песней тайги, счастливым смехом реки, свадебным танцем неба.

Стойбище уже проснулось. Посреди поляны между чумами горит костер. Арсентий и Ларкин обтираются холодной и прозрачной водой горной реки Бусинки. Маньаги, Епа, Итья Татьяна, как резвые олени, носятся по поляне. Не успели встать — уже играют. И Татьяна как маленькая. Что это с ней сегодня? Наверное, оттого, что праздник.

На берегу реки, прозрачной, как хрустальная бусинка, обыкновенная картина: Ай-от держит белого оленя тонким, как дождевой червь, тынзяном; олень мотает головой, чуя топор в руках Микуля. Топор

на мгновение коснулся головы оленя, и копыта его с трепетом протянулись к зеленому небу, к голубым кедром, к ласковому утреннему солнцу. . .

Кровь у белого оленя как виноградное вино. Пили ее из граненых стаканов спокойно и медленно, как жизнь, как сказку. И Ай-Теранти в этот момент тоже тихо и медленно, как сказку, стал рассказывать о возникновении праздника трудящихся, о первых сходках рабочих в лесу, о красном знамени. . .

— А знамени-то у нас ведь нету, — тихо сказала Итья Татъя.

И сразу наша поляна, наше стойбище с оленями и людьми, показалась пустой.

Арсентий словно проснулся. Он поставил свой стакан с недопитой кровью на пожухлую прошлогоднюю траву, пробившуюся сквозь тонкий слой льда, и направился к чуму. Скоро он вернулся. В руках Арсентия было полотнище под цвет зари ветреного утра. Через мгновение полотнище на остром конце хорея уже плыло над нашим стойбищем.

Новое светило горело рядом с нашим древним солнцем. Без него нам невозможно, оказывается, встретить майское утро. Это светило — наше, кровное. Даже старая Яныг-турпка-эква воскликнула: «Мана яныг хорам! — Что за большая красота!»

Да, это красота жизни, красота наших сердец.

Это цвет нашей жизни. Под красный

флаг становились наши отцы и братья в дни испытаний. Сегодня мы стоим. Это наше счастье!

Всю ночь я слышал во сне музыку. Она звенела травами, пахла цветами, колыбалась знаменами, смотрела глубокими голубыми глазами. И вот настало долгожданное праздничное утро. Оно казалось совсем не таким, каким встречалось в городах. Оно неповторимое. Такое бывает только в пути, на большой, трудной дороге.



МАЙСКАЯ ВЬЮГА

Однажды ночью вдруг разыгралась вьюга. Майская вьюга страшнее зимней. Привыкнешь уже к ласке солнца, звонкому полету уток, говору веселых ручьев, — и вдруг колючие стрелы снега, пронзительный, сшибающий с ног ветер и жгучая злоба мороза. Зимой, может быть, это было и незаметно. А после теплого весеннего дождя и гогота гусей невыносимо.

И утки, превратившиеся в снежки, стрелами летят на крыльях вьюги к югу. И где-то камнем падают в снег, в прошлогоднюю траву, греются. Они верят, что мороз пройдет. Это просто прихоть старика Урала. Скоро наступят настоящие весенние дни, и опять не будет краше края, чем милая родина.

К утру и мы продрогли в своем красном чуме. Печки у нас не было. Потому мы грелись шутками, смехом. Возились, играли, как дети. Оледеневший брезент палатки плясал, зычным голосом Филина выла вьюга, а нам было весело и тепло. Может быть, это потому, что в нашем красном чуме говорила и пела Москва, а главное — мы все были молоды. Если бы хоть одна старуха была в нашей палатке, настроение было бы совсем другим, как в остальных чумах. Кто там сейчас поет и веселится? Все подавлены и дрожат. И мы дрожали бы, если бы не отделились. Зачем старух и стариков берут в кочевье? Им уже трудно, и оленям приходится возить много лишнего груза. Сто шестьдесят оленей занято на одну перевозку. А сколько мяса нужно, чтобы прокормить всех! И получается больше мясоедов, чем пастухов-оленеводов. Незаметно шутки и смех превратились в серьезную беседу о проблемах оленеводства.

Итья Татьяна говорила, что главное для поднятия оленеводства — это создать новый быт: надо разрушить чумы. В них, как ни старайся, чистоты не наведешь.

— Я вот долго думала: может быть, мне жить в городе? Город большой, там много разнообразного, не наскучит. Но нас позвали в каслание, мы нужны, и я поехала. И правда, хорошо кочевать: каждый день новые места смотрят на тебя и радостно оттого, что столько красоты на

земле. А в деревне каждый день одно и то же. . . Только если здесь останутся чумы и эти старухи, я больше не поеду!

Для меня было загадкой: почему такая веселая девушка, любящая танцы и кино, поехала кочевать со стадом? Теперь я начинаю понимать. Она любит дышать новым, неизведанным. Может быть, поэтому и я поехал? Наверное! Дышать новым, неизведанным — это свойство всей молодежи.

— А новый быт, о котором ты твердишь, кто будет создавать? — повысил голос Арсентий. — Медведицы, что ли?

— Ни один здравомыслящий не пойдет в оленеводы. И никакого нового быта не будет! Только мы, дураки! В деревне сейчас такая весна! — прорвало наконец Ларкина, который все утро молчал.

Странно, как неузнаваемо меняются люди! Раньше он был живым, веселым, а теперь угрюмый, как пасмурный день.

Арсентий вспыхнул, как костер из сухих еловых веток, и заговорил горячо:

— Что, наш депутат Мария Долгушина тоже не здравомыслящая? Медику в любой деревне найдется работа, а она вот ездит по стадам круглый год и не жалуется! Конечно, нелегко — зато какая благодарность, какое тепло! Про тебя кто-нибудь песню сочинил? А про нее оленеводы не только песни поют, сказки уже сказывают. Слышал сказку «Как русская девушка Агум-Варнунт победила»? Вот так-то! . . . Не одним уютom живут люди!

Арсентий нахмурился и замолчал. Видно, он не хотел говорить общеизвестное, что человеку надо быть на своем месте, найти себя — тогда самый глухой край земли покажется счастьем. Ибо счастье всюду есть, в каждом человеке — только его надо искать, и прежде всего в самом себе, а не ждать от других.

— Конечно, я не против уюта, нового быта, — опять спокойно, как ни в чем не бывало, продолжал Арсентий. — Наоборот, я за это! Все мы привыкли жить по-новому.

И это было правдой. Не прошло и полтора месяца нашей жизни в чуме, а нам уже надоела эта «экзотика». В палатке — другое дело! Хорошо придумала Итья Татьяна... Я не могу жить в чуме, тяготилась, наверное, и Ларкин, и Итья Татьяна. А вот Арсентий спокоен. Он живет по-новому, может и как все оленеводы.

— Для каслания надо приспособить легкие дюралевые домики. Или придумать новые легкоразбираемые «световые чумы» из пластмассы. Техника наша мощная, не такое может! Нужны люди, молодые, задорные. — В глуховатом голосе Арсентия звенели какие-то грустные нотки. Видно было, не первый раз он говорит это. — С кем все осуществить? Старики ведь будут по-своему делать, а молодежь не идет!

— А разве мы не молодые? — вдруг словно проснулся Ай-Теранти.

— Так вы побудете немного и при первом случае улетите, как птицы, почувявшие

осень и ненастную погоду. За одну кочевку все не сделаешь!

Видно, слова эти задели Ай-Теранти за живое. В палатке бушевал Луи-вот-пыг — сын северного ветра, настоящий вихрь. Это Ай-Теранти так разошелся.

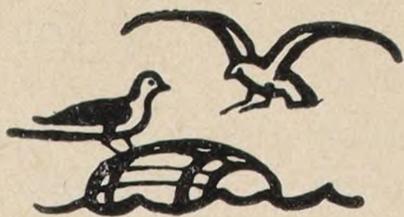
— И молодежь пойдет в оленеводы! Только надо по-новому организовать ведение хозяйства. Об этом нам с тобой надо думать. А потом и предложить. . .

Лучше всего, наверное, экспедиционный способ выпаса оленей. Три месяца пасет одна бригада, потом — другая. Одна пасет оленей — другая в это время отдыхает на центральной базе. Три месяца дальней дороги, три месяца солнца, три месяца вьюги, три месяца простора и воздуха, три месяца узнавания себя, три месяца преодоления трудностей, три месяца романтики! . . .

А отдых на центральной базе будет таким полным, насыщенным воспоминаниями. . . А потом человек снова идет каслать. Много выдумки требует от нас и даже будущих поколений наше древнее оленеводство!

В нашем красном чуме словно 'теплее стало. Словно заиграли струи, прозрачные и бурные, и таяли льдинки, и жизнь неслась в едином русле к единой цели.

А за ледяной палаткой бушевала вьюга. Но, кажется, за снежной пеленой уже вставал рассвет. . .



АЙ-ТЕРАНТИ

Рождается человек. Рождается безымянным. Потом ему дают имя. И оно живет, растет вместе с ним. Если человек плачет — плачет и его имя, если он смеется — и имя кажется ярче северного сияния.

Ай-Теранти... Маленький Теранти... Почему к имени Теранти прибавили слово «Ай» — маленький? Может быть, родители считали, что он, как и они сами, всегда будет маленьким, неприметным человеком? О, тогда они ошиблись! Очень ошиблись. Ай-Теранти — человек большой. Не беда, что он мал ростом, но сердце у него большое и крылатое. В глазах у него — лето теплое.

Я помню его детство. Мы росли в одной деревне. Называлась она Аргин-тур. Труд-

но было матери Ай-Теранти воспитывать детей. У нас на Севере все дети рано начинают трудовую жизнь. И Ай-Теранти рано начал ее. Сейчас он всплывает в моей памяти босоногим маленьким рыбаком в мокрых, до колен дырявых штанах. У него, как и у многих других ребят, не было своей лодки и ружья. И мальчик, чтобы заработать на хлеб, помогал другим. Он греб, кидал невода, ставил сети, караулил на перевесе¹ уток. И не раз он тонул в ледяной воде, дрожал под светом холодных звезд, как и многие другие дети Севера.

Трудное было то время. Война докатилась и до нас. Да, у нас в Сибири не разрывались снаряды, не падали бомбы, но синие лучи стужи пронизывали нас до костей и желтые лучи голода морщили наши исхудавшие детские лица. Мы оказались живучими — вместе со своими всемогущими матерями, вместе со своими отцами, сражавшимися где-то далеко с фашистами, мы выжили и победили.

Может быть, мы и не выросли бы, не набрались ума, если бы не русская учительница. Она заменяла нам мать. Она заменяла нам сестру.

Наши матери и отцы умели читать лишь звериные следы — она научила нас читать книги, и мы как бы заново увидели мир — широкий и огромный, мудрый и противоре-

¹ Перевес — сеть, которую вешают между деревьями в специально вырубленной просеке.

чивый. И, удивляясь, восторженно глядели в будущее. И, окрыленные мечтой, стремились вперед.

... Много лет мы не виделись с Ай-Теранти. Он окончил среднюю школу-интернат, ту же, что и я. Как и другие северяне, он мог бы поехать учиться в институты Москвы, Ленинграда, Новосибирска, Свердловска. Но родная земля потянула его к себе.

Нет, он не мог уехать со своей родины. Здесь плещется Обь, а Ай-Теранти — рожденный рыбак. Там, почти на середине Оби, качается бочка — конец сети. К ней ластятся чайки-хохотуньи. Они зовут в сеть и одетых в зубчатую броню богатырей-осетров, и бойких тупоголовых язей, и нежных сырков. А где кончается плавной песок¹ и начинается обрывистый берег с заводью, где пляшут и тонут бревна и на волнах дрожат лодки, там надо скорее снимать сеть. Это самое интересное на плаве. Один правит лодкой, другой тянет сеть. А в ней вьется серебристый сырок. Ай-Теранти не сможет уехать, не налюбовавшись вдоволь этим плеском, не ощутив всей душой северянина такой красоты.

А рыбная ловля в разгаре.

Вот и бочка пляшет почти у лодки. Виден конец сети. Свою неизменную песню — тра-та-та — запел мотор, и лодка медленно,

¹ Плавной песок — плес со стороны отлогого берега реки, где плавают донную сеть.

но все настойчивей и настойчивей ломает сопротивление течения и спокойно, уверенно набирает скорость. Рыбаки поднимаются вверх по течению, чтобы снова забросить сеть, чтобы наполнить лодку серебряным трепетом рыб.

Как хорошо ступить на теплый песок берега после того, как сдана вся рыба. Счастье! Оно наполняет весь мир. Ступишь на вечерний песок — он от июльского солнца нежный и теплый, — усталость словно уйдет в землю, а в мышцах почувствуешь новую силу, рожденную доброй землей. И этот июльский вечер на плесе покажется самым счастливым вечером на свете.

Вон горит костер. Звезды падают на землю. Искры летят в небо. Лишь люди неизменно остаются у костра. Там их песни, сказки и тихий сердечный разговор. Там поют сердца, там они добреют, становятся богаче. Сердца ведь тоже могут петь. Говорит костер, говорят люди, говорит уха, говорит вечер. . .

Ай-Теранти подходит к костру, запах ухи подскажет ему, что наловили много рыбы, что в лодке есть живые стерляди. Может, вы подумаете, что стерлядь — рыба грубая. Нет, пусть она и колется, пусть она и в броне, а когда ешь ее — она нежная.

Вот Ай-Теранти берет острый нож и снимает кожу со стерляди. Он не знает, что из этой кожицы в древности его предки шили себе одежду. Не знает об этом потому, что сам ходит в модных брюках,

сшитых на фабрике. О былом помнит лишь небо, вода, лес да сами рыбы. Зато Ай-Теранти знает, что перед ухой надо поесть трепещущей живой стерляди. Не просто знает — так ему хочется. Уж очень вкусна она сырая!

А лес... Зимний лес... Тайга... Тишина. Таинственная тишина. Не вспорхнет ни одна снежинка. Стройные, священные лиственницы будто оделись в серебристую чешую рыб. Они блещут под лучами большого зимнего солнца, выглядывающего одним глазом из-за белых шпилей бесконечного леса.

Белки. Огненные белочки... Какое наслаждение идти по первой пороше, по сияющему лесу и слушать мелодичную песню лайки! Вот она нашла белочку. Огненный хвост не дает ей покоя. И лайка зовет хозяина.

Лес. Нет, он не безмолвный. Ай-Теранти умеет его читать и слушать. Вот на снегу горностай нарисовал узоры, а вот тут сидел заяц, здесь кто-то его испугнул — и заяц полетел, едва прикасаясь к снегу. Он так летел, что с кустов сыпался снежный бисер.

Здесь, в этих снежных лунках, спали куропатки. Они проснулись совсем-совсем недавно: помет не успел даже побелеть и замерзнуть. Они где-то тут рядом, не в хвое, конечно, а в кустах, на берегу маленькой лесной речки. А тут лисица охотилась на мышей. Юркнула мыш в снеж-

ную норку, а лисичка и давай копать. Покопала-покопала, а мышь перебежала под снегом в другую норку. Интересно читать зимний лес.

Не может Ай-Теранти куда-нибудь уехать, не поскользив вдоволь на широких лыжах по родному снегу, по родному лесу, не почуяв тайну, не услышав сказку, не может он уехать! А мать? А колхоз? А родные люди? Тут без слов все понятно. Ай-Теранти едет в свой родной колхоз. . .

Кем он там будет? Конечно, рыбаком. А зимой охотником. И будет он лес валить, и на оленях ездить, возить колхозу сено и, может, даже воду, и строителем он будет — все сумеют руки, все обнимет сердце. . . А для чего, вы скажете, он окончил десять классов? Для чего учился? Как — для чего? А кто станет читать лекции в колхозном клубе? Он, Ай-Теранти.

Подари небу песню — она сказкой к тебе вернется. Подари реке силу — рыбой к тебе вернется. Подари земле любовь — счастьем к тебе вернется.

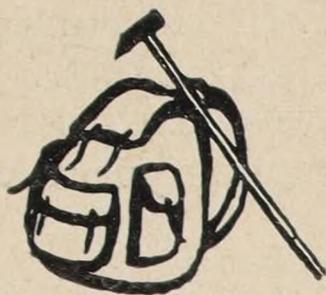
Сегодня я рядом с Ай-Теранти. Нас зовет и манит вперед одна дорога. Я слышу в сердце счастье. И кажется, от этого счастья солнце стало выше, тает снег, и несмелыми горностаями выбегают из-под снега первые ручейки. А сколько там, под снегом, жизни и движения! . . Любят манси соболей, любят ханты стерлядь, любят северяне край таежный свой. Все там еще не тронут. Но все знакомо, мило. И каждая

тропинка, и каждый ручеек... Здесь качалась люлька моя берестяная; править юркой лодкой я научился здесь, здесь впервые я почувствовал и нежный трепет рыбы и человеком себя почувствовал. Как же, как же можно сюда не вернуться!

Большие дела закружили Ай-Теранти. Он секретарь райкома. Секретарь! И свое имя несет Ай-Теранти по жизни только с честью.

Я счастлив, очень счастлив. И горд. И не потому только, что Ай-Теранти любит лес, снег, рыбу; не потому, что он живет и трудится вместе со своим народом, но и потому, что Ай-Теранти учится. Часто в большой город ездит, сдает в институте экзамены.

... Весна жизни! Она с каждым днем все смелей и смелей входит в тайгу. Солнце все выше и выше! Поют ручьи. Они сливаются и шумною рекою бегут к Оби. А там раздолье! Широта и глубина. Спокойное и торжественное течение в будущее.



ЛАРКИН УШЕЛ К ГЕОЛОГАМ

У нас были геологи. Целый день праздновали встречу. Они угощали нас черной икрой, сайрой, вином... А мы их — свежей олениной. Говорили, как птицы на рассвете. Пели, танцевали.

Нет в тайге радостнее праздника — чем встречи людей! И нет горше расставания, потерь! Мы потеряли Ларкина. Он ушел с геологами. Ему нравится эта специальность. Давно он говорил о них как-то по-особому. И вообще, какое может быть сравнение геологии с оленеводством! Там романтика... Ушел комсомолец... Больше всех огорчен Ай-Теранти.

Нам будет тяжело. Силька ушел. А теперь Ларкин... Лишь Микуль и Ай-от на-

стоящие пастухи. Итья Татъя и Йикор — новички. Вун-ай-ики уже тяжеловат. Арсентия и меня за пастухов не считают, хотя и мы принимаем активное участие во всех делах.

Сейчас нам с ним придется по-настоящему работать. . . Приближается самое ответственное время: скоро отел. Люди должны быть особенно чуткими, когда рождается новое, молодое.



МЕДВЕЖИЙ ПРАЗДНИК

Мы решили поехать в гости во вторую бригаду. В чуме остались лишь Вунай-ики со старухой да невестка Окра.

Долго продвигались к Уралу. Соскучились по людям. Встретились хорошо, как в сказке.

А в чуме нашей стоянки вот что произошло. Давно потухло пламя в печке, старик курил трубку, старуха мяла ровдугу¹, невестка мыла блюда, а мальчик спал в люльке. Все тихо-мирно. Даже не слышно было, как паслись олени возле родного чума.

Вдруг вздрогнула земля, застучали копыта... «Что такое?» — заинтересовался

¹ Рóвдуга — мягкая, выделанная шкура оленя.

старик. Старуха откинула шкуру, прикрывающую вход, и ахнула: «Он идет!» И с оледеневшими глазами бросилась в постель, прикрывшись своей шубой. Шубами укрылись невестка и старик. Под тяжелыми шагами хрустит даже талый снег. Шаги все ближе-ближе. . . Вот кто-то могучей рукой, как огромным камнем, бьет по шкуре чума. И слышно, как шкура рвется.

«Нет, это не человек! — думает невестка Окра. — Человек к людям входит только через дверь. Он найдет ее и в чуме. Так кто же это такой? Может, Менкв-великан?»

Кто-то уже в чуме. Он дышит тяжело, даже посвистывает. Окра знает, кто это такой. Старики не зовут медведя по его имени, просто «он» величают. Это ведь хозяин тайги, древний предок манси, древний предок ханты. Если назовешь по имени, значит, назовешь его зверем, и медведь тогда обидится. . .

А зверь, бурый и большой, уже ходил по чуму как хозяин. Он был зол и голоден. Зол на тех, кто разбудил его так рано. Он ведь мог еще спокойно лежать и сосать свою лапу. А вот разбудили. Придется искать себе добычу. Недоспал. Голова кружится. Как пьяный. Ему теперь все равно. Первое, что привлекло внимание хозяина, было маленькое спокойное лицо мальчика среди шкур. Может, ребенок напомнил ему морды его медвежат? Он подошел к люльке. Сграбастал ее в лапы. Подержал в молчании. Послушал, как мальчик спо-

койно дышит. И, вспомнив, что очень голоден, поставил люльку на другое место, почти у входа. Запах сушеного мяса нестерпимо щекотал широкие ноздри. Медведь подошел к мешку, подвешенному к жерди, разорвал его острыми когтями и, с жадностью чавкая, похрустывая, начал пожирать вкусное сушеное мясо.

...Старик Вун-ай-ики прожил долгую жизнь. Стал белее Кев-ики — старика Урала. Много раз падал снег с тех пор, как он родился, не знает, сколько раз таял снег с тех пор, как он родился, много раз ходил с оленями на Урал, много волков бил. А медведя не убивал.

Молния сверкнет и растает. А мысли еще быстрее, а мысли еще острее, когда над головою медвежья лапа висит: за одно мгновение в мыслях вся жизнь вдруг пролетит. Это было давно. Тогда Вун-ай-ики был молод, тогда он был строен и высок, как молодой лось, и задорен был, как порывистый северный ветер.

Однажды охотники стали собираться на медведя. Старшие называли его почтительно. Ни одного худого слова о нем. Тихо собирались охотники. Шумел лишь один молодой охотник. Яковом его звали. Он хвалился своей смелостью, а хозяина тайги ни во что не ставил. Старики просили его быть поскромнее. Но он не слушался, как вьюга.

И вот тридцать человек под корень кедра смотрят. Тридцать рогатин и копий на-

целены в темноту под корень. И длинный шест смотрит тоже в темноту. Лаает-бесится собака, кусая темноту... И вдруг, как вísар — вихрь крылатый, вынесся из берлоги Мóйпыр. Копья и рогатины, как во сне, чуть вздрогнули, но не полетели. Дальше всех, в стороне, под ветвистой елью стоял Яков. Никого не тронул сын хозяина Верхнего Мира, Нүми-Тóрума, а Якова отыскал и с головы его буйной и хвастливой, снял кожу с волосами. Но кровь за кровь! В сердце хозяина уже торчали копия... Сразу двух кровных «родственников» — Якова и медведя, везли со скорбью люди...

Вот ведь как бывает. А сегодня хозяин тайги сам пришел. Даже под теплыми шкурами деду было холодно, даже под мягкими шкурами он, как в мороз, дрожал.

А между тем хозяин уже подобрел. Мясо больно вкусное. Никогда хозяин не ел такого лакомства! И захотелось ему на солнце, к свежести тайги. Острыми когтями снова разорвал чум, яркими лучами взглянуло в глаза медведю солнце. Медведь прищурился, слизнул языком вокруг пасти крошки сухого мяса, увидев нарту с мягкой оленьей шкурой, забрался в нее и прикорнул...

В это время возвращался с утреннего обхода оленей пастух Ай-от — младший сын старика Вун-ай-ики. Приближаясь к стоянке, он заметил, что олени чем-то очень встревожены. Понял он, что побли-

зости какая-то опасность. Ай-от снял с плеча винтовку. Проверил, заряжена ли она. И, приготовившись к бою с неведомым противником, пошел быстрее к чуму. «Что же произошло?» — думал, волнуясь, Ай-от. Почему-то чум не курил? Куда делись люди? Собаки? Вдруг Ай-от заметил на нарте что-то черное, необычное. Не успел он сообразить, что это такое, как, почуввав железо, поднялся на дыбы медведь и пошел на него с раскрытой пастью. Ай-от выстрелил. Медведь упал почти у ног. Ай-от растерялся, как ребенок. Все произошло в одно мгновение. Даже испугаться он не успел. А потом застучало сердце, затрепыхалось в груди, как маленькая рыбка. Ай-от как в тумане вошел в чум. В чуме светло, солнечно. Лоскуты шкуры свисают с жердей со следами когтей хозяина. Люлька с младенцем стоит почти у порога. Ай-от поражен увиденным. Малыш веселый и никого, кроме него, нет. Странно!

Вдруг шкуры зашевелились: показалась голова старика. Она стала белее оленя. В глазах его оледенел ужас...

Снег, снег, снег... Неужели разыгралась вьюга? Не может быть: ведь светит теплое весеннее солнышко. Снег, снег, снег... Малицы белые, щеки белые, ресницы белые... По щекам струями текут слезы. Нет, это не слезы — это на лицах тает снег... Снежки над чумом, снежки на по-

ляне. Играют в снежки олени, играют в снежки собаки. Они носятся по поляне. Носится по поляне Микуль. Он похож сейчас на Мань-пыга. А маленький Мань-пыг похож на Микуля. Он стоит серьезный, удивляясь, как это большие дяди и большие тети никогда раньше не играли, а теперь играют... Снег, снег, снег... Смех, смех, смех... Начало медвежьего праздника.

Игра игрой, праздник праздником, но надо трудиться! Какой праздник может быть без труда? Оленеводы снимают шубу медведя, делают чучело его головы. Какой же праздник в тесноте! Решили праздник проводить в красном чуме. Я, конечно, помогаю. Чтобы не испортить праздничного настроения, я тоже, как и все, не называю медведя по имени, не укоряю людей за этот пережиток прошлого. Пусть будет праздник! Ведь люди потрудились на совесть: много недель не знали отдыха, кочевали к Уралу, под открытым небом, под холодными звездами, над холодным снегом.

Жизнь без отдыха — как лось, попавший в яму, жизнь без праздника — как могила, а с песнями и с плясками — жизнь словно сказка!..

Пусть повеселятся, пусть покажет каждый, на что он способен. Ведь душа не может жить без крылатой песни, чудной-чудной сказки. А лекцию о пережитках я прочитаю после, когда настанут будни...

И вот на поляне перед красным чумом

горит костер, как солнце. Над костром висит большой котел. В нем голова хозяйна. Уже горит вечерняя заря. По небу кочают стада звезд. От костра к небу тоже летят звезды, яркие и горячие. На свежавшем весеннем снегу лежат длинные синие тени, а возле костра пылают лица малышей. Они сегодня особенно радостные: и снежинки, и звездное небо, и медведь, и костер... Но они не знают, что еще веселее будет дальше, в красном чуме. Там закипают что-то интересное.

В самом чистом месте, против входа у стены палатки на низеньком столике, стоит «его» голова.

Рядом с ней чашки с печеньем, с конфетами и бутылка спирта. Медведь любит полакомиться, а пить не любит. Зато люди любят, чуть-чуть людям можно. По левую сторону, рядом с хозяином, посадили виновника — охотника Ай-ота. По правую сторону — почему-то меня. Спрашиваю, почему именно я должен сидеть. Они молчат, кивают головами: мол, так нужно. Спрашивать нельзя. Потом я узнал, что это почетное место. Раньше здесь всегда сидел шаман. Он разговаривал с хозяином, узнавал его мысли и желания, предсказывал будущее. А теперь кто знает больше? Врач, учитель, ученый. Они разговаривают с книгами, они тоже знают о болезнях и о будущем. Вот они и должны сидеть рядом с головой.

На столике появилась большая деревян-

ная чаша. Она дымилась, как озеро в летнее утро. И пахла не травами, не туманом, а чем-то живым, вкусным. А может, этот запах усиливается от подожженного сэныг? ¹ Когда горит сэныг, чум наполняется ароматом, которым дышат боги. А кто боги? Кто духи? Конечно, мы! Все сидящие полукругом на мягких оленьих шкурах: и Микуль, и Ай-от, и Ай-Теранти, и Вун-ай-ики, и Йикор, и Потёпка, все наши женщины, образовавшие по древнему обычаю свой полукруг.

Микуль подносит каждому большую чашу. Каждый берет себе кусок мяса, кусок вкусной головы медведя. А Потёпка разливает спирт в граненые стаканы. Ай-от виновник праздника. Он сидит опустив голову, скромн и тих, как вечер. Микуль подносит ему душистые глаза. А самый зоркий глаз, правый глаз сына хозяина Верхнего Мира, Нуми-Торума, дали мне. Раньше давали шаману. Почему давали шаману? «Шаман» по-мансийски «саман». «Глаз» по-мансийски «сам». «Самын» по-мансийски «глазастый». «Самын саман» — «глазастый шаман».

Рядом со мной сидит Вун-ай-ики — самый старший человек среди нас. Он больше всех бывал на медвежьих праздниках. Он лучше всех знает, что делать дальше. К нему подходит Микуль и спрашивает:

¹ Сэныг — нарост на березе или осине (когда горит, распространяется приятный запах).

— А что делать дальше? Ты, дед, как неживой или как олень уставший. А мы на тебя надеялись, как на вожака-оленя. Что делать, мы и не знаем.

— Что делать? — слышу я глуховатый старческий голос. — Просто живите, пляшите, веселитесь! Я уже старик. Раньше мы многое делали. Шаман был — он все знал. Он говорил, что нас ждет впереди, что думают духи, сам Нуми-Торум. Все говорил. А потом мы веселились, плясали, т^улыглахтысуб — показывали сцены из жизни. Спрашивайте Потёпку, он больше меня, наверно, знает, все же он. . . — Старик запнулся, потом продолжал: — Да вы все сами знаете. Веселитесь, только немного пейте. Спирт — не веселье, а болезнь. Главное-то веселье.

Вун-ай-ики говорил тихим, глуховатым голосом. Он сидел рядом со мной, но казалось, он где-то далеко-далеко от меня.словно не человек говорит, а журчит обмелевший таежный ручей. . .

Ойнга-писинга! — звенят стаканы. Чуть-чуть шумнее стало.

Вдруг словно вылетела большая птица, рассекая могучими крыльями свистящий, звенящий воздух. И вот птица уже парит высоко-высоко. Будто замерла тайга, снег и звезды. И лица людей сначала вздрогнули, повернулись к голове медведя. Это были звуки санквалтапа. . . Потёпка играл Уй-тан — гимн медведю.

Я залюбовался руками Потёпки. Похо-

жий на лодку, почерневший от времени санквалтап под его руками оказался чудом. В сторону отодвинуты куски медвежьего мяса, граненые стаканы. . . Лица просветле-ли, как небо утром. А я почувствовал себя древним-древним, словно взглянул в душу медведю и услышал: «Спасибо человеку, приведшему меня сюда. Если бы не он, я бы не услышал эту чудесную музыку. Пума-сибо! — Спасибо!»

. . . Плавно, высоко парящая птица-пес-ня вдруг рванулась вниз, словно ястреб, и, как утки, встрепенулись люди:

Эх, куриньку заиграли —
Все поджилки задрожали:
Пляшет девушка, смеется,
Как налим скользит и вьется,
Ноги гнутся в рог олений,
И плывет, что гусь весенний,
Скачет, как лесной лосенок. . .
А напев-то звонок, звонок,
Санквалтапы в звоне, в звоне.
Бей в ладони, бей в ладони!
О-о-о! Медвежий праздник.
Всех напев крылатый дразнит,
Пляшет, пляшет, платье-пламя
Так и плещет языками,
Чтоб глаза у всех пылали. . .

Глаза действительно пылали у всех. Мо-жет быть, ярче всего пылали у той, которая кружилась посреди чума, задевая сидящих шелковой бахромой шали. Кто она? Ведь

ее глаза закрыты шалью. Наверное, это Итья Татъя...

У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!

Это прибежали тулыглахтын махум¹. Лица их прячут берестяные маски — сас-нёл. «Сас» по-мансийски «береста», «нёл» — «нос». У саснёл нос длинный-длинный. Над узкими щелочками глаз длинные ресницы и черные брови дугой. Саснёлом называют и его владельца. Саснёл может говорить все, смеяться над всеми, даже над медведем и присутствующими. У него ведь лицо не человеческое, а берестяное. Береста все вынесет!

У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу! Вот два охотника. Они в масках, в легких охотничьих малицах, подпоясанные мансийскими поясами, на которых висит сипаль с большим острым ножом и зубы медведей. В руках у них ружья. Один целится вниз, себе под ноги. А, это он разыгрывает охотника, убившего зверя. Раздается треск, напоминающий выстрел. Второй охотник нагибается и тянет что-то тяжелое-тяжелое. В руках у него чучело, изображающее хозяина.

— Не я тебя убил, — говорит он медведю, — а убило тебя ружье...

У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу! Пляшут пальцы Потёпки, поют струны. Берестяные маски снова вертятся, размахивая руками,

¹ Тулыглахтын махум — люди, участвующие в сценических представлениях.

вьются по полу нагими, порхают птицами...

У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу! Санквалтап замолкает. Входят трое саснёл. Двое из них одеты в облезлые тонкие малицы. Это, конечно, бедные манси. А третий с бородой, длинной и широкой, как веник. С животом большим, как у важенки перед отелом. Он не в малице, а в шубе. Это, конечно, купец. Он достает из мешка что-то блестящее, яркое.

— Вы любите бусы? — спрашивает он голосом теплой ласковой речки, в которой можно утонуть.

— Это люблю не я — любит моя жена! — говорит один из манси.

— Коль любит — дай белок, — говорит купец.

Охотник протягивает пушистые шкурки.

— Вы любите колокольчики? — журчит еще нежнее голос купца.

— Конечно! — говорит другой охотник. — Без колокольчиков тайга нема, как карась.

— На тебе колокольчиков, дай мне песцов. — Голос купца чуть слышен, словно по снегу легкими шажками проходит песец.

Охотник вынимает шкуры песцов, голубых, как утро.

— Нам нужен порох и дробь! — говорят оба враз.

— Пороха и дроби нет. Есть водка! Вы же любите такую водичку, — воркует купец. — Несите соболей!

Охотники несут соболей. Пьют. Пьянеют. . .

— А теперь платите ясак! — как вьюга воеет купец.

— Больше у нас ничего нет! — говорят охотники.

— Тогда копайте себе яму. Буду вас хоронить, коль не расплачиваетесь!

Охотники покорно копают яму. Летают лопаты, летает земля и снег.

— Померьте, какая глубина ямы, — приказывает купец.

Один манси встал в рост — яма только по грудь.

— Надо еще копать. А то вылезти сможете.

Опять копают охотники.

Купцу уже надоело ждать.

— Уж больно долго вы копаете! Ничего не умеете делать, медведи и то поворотливее.

— Мы и правда не умеем. Покажите нам, пожалуйста, как надо правильно копать.

Охотники вылезают. А купец спрыгивает в яму. Только он нагнулся — охотники начинают забрасывать его землей. Так и забросали. С тех пор на земле не стало купцов, и хорошая жизнь пошла, как в веселый медвежий праздник — вот в чем смысл этой сценки.

У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу! Саснёл исчезают.

Опять звенят ручьи. Женский танец.

Вместо женщин танцуют ребяташки. Трех-летняя Мань-аги накинула платок на голову, закрыв лицо и глаза, и стала кружиться в плавном танце. Трудно удержаться на месте, когда играет музыка. Под ее звуки пляшут в речке рыбы, на деревьях белки, на земле люди...

Рядом со мной стоял радиоприемник «Родина». Я включил его. Говорила и пела Москва. Кажется, она была рядом, совсем рядом. В эти дни я словно жил в другом веке, на другой планете. Соскучился. И вот Москва... Я предложил всем послушать.

— Правильно! — сказала Итья Татьяна. — Какой праздник без радио, без новой музыки!

— Какая веселая у них музыка! — подсаживаясь ближе к приемнику, произнесла тетя Сана. — В Москве, наверно, тоже медвежий праздник?

Микуль, Итья Татьяна и я засмеялись, как чайки над Обью.

У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу!..

Что это такое? Разве я ослышался? Нет!

— У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу! — звенит как тоненький ручей, скачущий через камушки. Где камушек — там звонче, где песок — глуше.

Голос глуховатый, женский:

Меж зеленых деревьев я по бору шагаю,
Меж красных деревьев я по бору шагаю,

Двумя сияющими озерами я смотрю на мир,
Двумя чуткими лосями слушаю мир:
Языком озорного мальчика кто там щелкает?
Кедры стоят, словно кудрявые облака.
Шишками они словно просмолены:
Так много шишек! Так много шишек!
На вершине кедра кто там щелкает?
Ус-ворын-нэ-ронжа трещит-щелкает.

Это посреди чума, чуть согнувшись, ходит, напевая, старая медведица, шагает, как по родному бору. Пришла она сама, чтобы рассказать о своей трудной жизни, о своих радостях и печалях.

Все слушают ее. И каждый по-своему. Вот сидит как скрючившаяся старая ива Яныг-турпка-эква — мать Сильки и Ай-ота.

Она не помнит, сколько зим, сколько светлых весен прожила на земле. Голова ее словно обросла белой берестой. Глаза ее, узкие, почти бесцветные, все же что-то говорят. Может быть, в них просто безмолвная, спокойная благодарность за то, что медведица родила первую женщину.

Время от времени Яныг-турпка-эква повторяет, чуть вздыхая: «Веселитесь, детки, веселитесь!» И сама покачивается, как старая корявая ива.

Вун-ай-ики сегодня особенно строг и молчалив. Для него медведица, наверное, воплощение истинной справедливости: она губит только тех людей, которые в чем-то провинились. . .

А голос медведицы льется. Она обращается к своей подружке ронже, сидящей на ветке кедра:

Милая кумушка, Ус-ворын-нэ,
Летаешь на крыльях, сидишь ты на ветках,
Брось мне шишек, длинных, как кар¹,
Брось мне шишек, толстых, как кар.
Бросишь мне шишки — спинной будет жир:
Долгую зиму спать будет мягче,
Бросишь мне шишки — жир будет в лапах:
Темную зиму веселей коротать!

Глаза у маленького Епы сияют, как снежинки на солнце. Он вспоминает лето, качающиеся на ветках смолистые шишки. Сколько раз он сам, как эта медведица, смотрел на ронжу, без труда достающую шишки с жирными кедровыми орехами. Что стоит крылатой ронже сбросить шишку! И, быть может, оттого, что медведица повторила его думы, глаза у малыша сияют, как снежинки при ясном солнце. . . Епа помнит, что ронжа всегда ворчала, а смысла ворчанья он не понимал. А медведица все понимает. Вот что ронжа ответила медведице:

Между небом и землей звенит твое имя,
Громче грома громкое имя!
Имени такого я не имею:
И то не прошу! И то не прошу!
Вот какое нынче золотое лето!

¹ Кар — непереводимое слово, в смысле «большой».

За короткую зиму можно вдоволь
Запасти утренней еды, вечерней еды!

Вот такая хвастунишка! Летать на крыльях, сидеть на ветках, шелушить орешки — много умения не надо. А легко ли бескрылому карабкаться вверх по смолистым скользким веткам? Не каждый это сможет! ..

В деревне мне казался легким труд пастуха. Ведь оленям, думал я, готовить корм, как коровам, не надо: они сами достают ягель из-под снега. И ухода особого не требуют. Оленеводы лишь ездят на них да едят мясо. Вот это жизнь!

Многие так думают, не один я...

Но медведица снова обращается к ронже:

Нет у меня крыльев — я прошу у тебя в долг,
Будешь в беде — тебе помогу! ..

В ответ слышится только смех:

Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!

Имя как гром, а просит, просит!

Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха!

И летит под ноги медведице обглоданная шишка. Возьми. Ешь!

Рядом с Вун-ай-ики по кругу сидит Микуль. Он сейчас о чем-то задумался. Конечно, не о том, что медведь «кровный родственник» и перед ним надо преклоняться. Нет! Ведь Микуль не старик. Он думает над словами медведицы: «Будешь в беде —

тебе помогу!» Это о жизни людей поет медведица.

Что было бы со стадом, если бы не пастух Ай-от, не Арсентий, даже Йикор, Итья Татья и все женщины. Микуль один не справился бы с оленями. Стадо разбежалось бы. И горе перед глазами стояло бы. Люди есть — сердце друга рядом, помощь всегда рядом. И нет на земле горя, когда слышишь: «Тебе помогу!»

И я думал о том же: «Медведица не попрошайничает. Она просит помощь. На рыбалке, например, у кого нет лодки, снасти, сетей, может взять это у всякого другого манси, так уж заведено извечно, никто не откажет. И даже просить особо не надо. Главное — ведь нужно ловить рыбу: она не каждый день ловится. Медведица выкладывает древние думы наших предков. Надо послушать, как они думали. . .»

А ронжи, оказывается, есть и среди нас. Вон медведица близко подходит к Йикору, и, едва не прикасаясь лапами к его улыбающемуся налимьему лицу, приплясывая, напевает:

Ах чванливое животное,
Ах ты жадная тварь, не знающая товарищества!
Был бы ты внизу, превратила бы тебя в шкуру,
Из которой шьют голые няры¹,
Превратила бы тебя в шкуру,
Из которой шьют рукавицы! . .

¹ Няры — обувь из гладкой, обделанной кожи.

Йикор сидит на мягкой оленьей шкуре, скрестив ноги. В ответ на колючие слова он гримасничает, шевелит ушами, а веки глаз завернул и на медведицу уставился слизистыми красными светилами: даже лесная женщина отпрянула. Медведица пела о том, с каким трудом она вскарабкалась на кедр, настучала шишек и как дразнила ее купчиха-ронжа, бросая под ноги ей обглоданные шишки. В песне летели проклятия. . .

И Йикор кривляется, не зная, куда деть свое лицо. Татьяна улыбается, Вун-ай-ики сидит хмурый, опустив голову, загадочное что-то видит тетя Сана.

Все слушают древнюю песню, и каждый по-своему.

А медведица пела о том, как, набравшись жиру, проспала она зиму в берлоге «сном долгим и толстым, как корень», как услышала она «голоса птиц и зверей, и пенье ручьев-оврагов», как опять «хозяйкой зашагала по родным борам меж зеленых и красных деревьев», и как увидела на вершине кедра черную пушинку. Это хвастунья ронжа высохла.

И кто-то шепчет: «Ты, Йикор, вот так же высохнешь, станешь легким и никчемным, как пушинка!» И немолодой женский голос поет в лад со струнами, вливаясь в сердца и души:

Что нажила я трудом великим
Под смех твой злой и дикий,

На весь год хватило
И на весну осталось!
Не насмехайся — помогай другому:
Смех вернется плачем,
Щедрость — весенним счастьем! . . .

Медведица замолчала. И все дружно захлопали в ладоши. И громче всех Ай-от — не выдержал. Он должен был сидеть скромно и тихо, а то медведица обидится. Но сегодня все нарушали обычай. И никто не боится: медведь все равно не слышит. И мало кто верит, что чучело слышит. А поют и справляют праздник просто для души.

У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу! Входит в чум какая-то женщина в красивой ягушке¹ с узорами, в длинной шали, в берестяной маске. Идет она вперевалочку, пошатываясь, позванивая колокольчиками. . .

— У-ку-лу-лу! Пáся óлэн!² — тянет пискляво, как кукушка.

— Пася, пася! — говорят сидящие, кивая головами. — Кто ты?

— Я бревно с семью отверстиями.

— Какое ты бревно? Ты человек.

— Я не человек, а ящерица.

— У ящерицы есть хвост, у тебя нет, — говорят сидящие, внимательно наблюдая за проделками неведомой женщины.

— Хвост я отрубила. Пусть отвечает за мои проделки хвост, пусть он крутится в

¹ Ягушка — шуба женская с узорами.

² Пáся óлэн! — Здравствуйте, живите!

чужих руках до заката солнца. А у меня, коль нужно будет, новый вырастет.

— Зачем тебе хвост?

— Раньше шаманила. Ко мне ходили все оленеводы. Теперь никто не ходит. Иногда и теперь потихоньку шаманю, говорю сказки. Вот и нужен мне хвост.

— Ну, если ты ящерица, пусть у тебя вырастет хвост. А, не вырастает! Никакая ты не ящерица!

— У меня-то хвоста нет, посмотрите у Яныг-турпка-эквы: у нее есть хвост, она хитрая старая ящерица. . .

Яныг-турпка-эква, сидевшая почти у входа в чум, побледнела, как белая ровдуга, когда ее разомнут крепкие, умелые руки. Только сейчас все узнали, что под маской не женщина, и не ящерица, а Йикор. Это он нарядился в женщину-ящерицу. Он, видно, решил высмеять Яныг-турпка-экву. Медвежий праздник самый подходящий случай для этого.

Йикор-напар. Недаром к его имени прибавили слово «напар» — сверло. Всех просверлил, всех осмеял, выкрикивал самые едкие, самые низкие слова. . . В берестяной маске все можно! . .

Тут не выдержал Ай-от. Вскочил. Глаза его загорелись негодованием: так относятся к его родной матери! И кто! Этот подслеповатый, никчемный Йикор. Что она сделала Йикору?

Видно было, что Ай-от готов был превратить Йикора в воду, затоптать в снег.

Но идет медвежий праздник. На празднике можно драться, но не кулаками, а острым колким словом, песнею-стрелой, огненными плясками. Ай-от вышел из чума.

У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу! Раскачиваясь как дерево в пургу, ввалился в чум саснёл. Ветра не было — а он качался, бури не было — а он шумел и трясся, как осина:

Йикор, Йикор, хáпйив¹ Йикор,
Йикор, Йикор, напар Йикор,
Если каплю водки выпью —
Стану шумным, как осина,
И затреплется язык мой,
Словно шумный лист осины...

И посреди чума трепетали листья осины — разноцветные лоскутки шкур. Они летели вместе с руками пляшущего, дрожали на его плечах, болтались на ногах. Летели острые слова, как брызги волн на Оби во время шторма...

«Что чувствует сейчас Йикор? — думал я, глядя на него. — Не скажет ли: «Нет, это не я, я не такой страшный»? Или Йикору все равно?»

Отомстив Йикору, Ай-от задумался. Все-таки слова напара кольнули его. Доля правды в них есть, ведь из-за матери и отца поссорился Силька с красивой и любимой Настой. Родителям перечить нельзя, а жена ушла из дому. И Силька остался один...

Ай-оту больно. Может быть, он сегодня

¹ Х á п й и в — осина.

впервые, здесь, на медвежьем празднике, подумал о своей матери, о том, какие разные отцы и дети, как по-разному глядят на жизнь.

У-ку-лу-лу! У-ку-лу-лу! Вертится саснёл, одетый в длинные резиновые сапоги и в фуфайку. Это, конечно, рыбак. Вслед за ним летает птичка тюл-тюлнэ — кулик.

— Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ — какая хорошая птичка! — поет старик рыбак.

И довольная птичка гладит свои перья, кружится в плавном танце.

— Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ! Ты совсем нехорошая птичка, ты кукушка, не любящая детей. Интернаты есть, детсады есть — мать теперь не нужна, так ты рассуждаешь. Все на государство валишь, — снова поет седой рыбак.

Птичка замирает на месте, поникает смущенно головой.

— Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ, ты хорошая птичка, весной прилетаешь, людей веселишь, радость в душу приносишь! — продолжает петь старик.

И снова птичка радуется, перья поглаживает, в танце кружится.

— Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ, ты сварливая птичка, как сварливая жена председателя колхоза.

— Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ, ты лекторша из города, говоришь монотонно, как осенний дождь — и мы уже выпались.

— Тюл-тюлнэ, тюл-тюлнэ, ты совсем не птичка, ты комсомолец Ларкин. Не хочешь

быть оленеводом — хочешь быть героем-геологом!..

И птичка нахохлилась, встопорщилась, как воронье гнездо...

Все долго смеялись. И над тюл-тюлнэ, и над теми, кого называл старик. Хорошо! После смеха легче на душе. И тело, кажется, становится легче, словно был в жаркой летней бане.

Баня... Почему она вспомнилась мне? Только ли потому, что больше месяца я не мылся? Нет, вспомнил слова дедушки: «Как побываешь в жаркой бане да похлещешь по горячему телу сначала нежным веником, потом острыми зубами щуки выпустишь дурную кровь — сразу помолодеешь!»

Медвежий праздник — это совсем не праздник медведя, не религиозный праздник, а праздник охотников, жаркая баня с острыми словами, крылатой пляской, нежной песней, волшебной музыкой!

Это понимали уже древние манси... И прошлое, и настоящее, и будущее промелькнуло за одну ночь.

Ночь! Чудная ночь! Не заметили, как она пролетела. Кажется, уже выпались, так легко на душе! На востоке горит заря нового, весеннего, светлого дня. Теперь всегда дни будут только светлыми, а ночи веселыми!



ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ

А вот и солнце. А рядом с ним горы, они серебристо-синие. Кажется, они колышутся, нежно покачиваются. Это не горы колышутся — это струится воздух теплый. Это ласкается синий ветер. В нем и запах морошки и ледяных вершин Урала, дыхание вновь рожденных оленят и юных оленеводов.

... У большого камня, на мягком ягеле, на корточках, чуть пригнувшись, сидит Итья Татья. Грудь ее круглая колышется, а черные глаза кажутся синими. Она словно цветок на этой поляне между скал, где стадо остановилось на отел.

В руках у Итьи Татьи олененок. Он еще мокрый. Но уже радостный и живой. Причмокивает язычком, что-то ищет губами.

Только что родился, а как он хочет жить, двигаться, сиять глазами!..

Итья Татъя улыбается. И все улыбаются как тогда, когда Мань-пыг был спасен умными руками Итьи Татьи.

...Над скалами вьются лучи солнца. Они садятся за снежную спину Урала. От их ласки просыпаются и поют ручьи, и на холодных вершинах начинается жизнь.

Над оленями тучи оводов. Когда тысячи оводов нападали на оленя и тысячи личинок буравили его кожу, ясные глаза оленя закатывались. Много оленей погибало! А теперь меньше! И все потому, что в бригаде новый оленевод, молодой оленевод Арсентий. Если бы не цветная ковбойка, трудно было отличить его от оленей на берегу прозрачной горной речки.

Боятся его крылатые тунеядцы, жмутся к нему рогатые друзья: Арсентий их чем-то опрыскивает. Наверное, проверяет новый препарат.

А рядом с Арсентием Микуль. Хотя и жарко, он все ходит в своем синем кувсе¹, подпоясанном широким поясом. Он слушает Арсентия, как слушали когда-то шамана. Видно, очень хочет стать новым оленеводом! Скоро их будет много-много: ведь за это взялся комсомол района! Ай-Теранти подберет, конечно, самых достойных. И тогда старики останутся дома...

¹ Кувсь — длинная рубашка с капюшоном, сшитая из сукна; надевается через голову.

Там, где будут стучать копыта оленей, сказки новые зазвонят...

На склоне горы тоже олени. Они цепочкой ярких бус тянутся ввысь вдоль склона. Там, почти под облаками, ходит Ай-от. Его отсюда не видно. Слишком высоко забрался он.

...Рядом со мной олень. Он смотрит на меня. Глаза его смолистые, ласковые, как глаза любимой. В них нет ни высокомерия, ни лжи, ни укора. Свет их ясный, теплый. Они греют человека в пургу. Дают ему крылья — и он летит на своей нарте, словно вьюга.

...Ветер и снег, колючий мороз и слякоть кочуют с оленеводом. Ночью на него смотрит небо. Внизу — снег, наверху — холодные звезды. А он спит. И даже во сне не чувствует себя героем, не жалуется светилам и не требует внимания. А утром — опять дорога. И стадо движется. И жена и дети в нартах. Над губами маленьких северян морозец играет белой струйкой. Он так и скачет около малышей. Прильнет к щеке — и она белая, прильнет к ушам — они горят. Но малыш не жалуется и не плачет.

Бегут олени, бежит дорога, пляшет мороз — и так всю жизнь!

...Тысячи оленей в стаде. А пастухов — пятеро. На земле есть злые волки. Они любят оленье мясо. Глаз да глаз тут нужен! А чуть ослабнет внимание — и волчья пасть раскрыта, лежит голова оленя, алый ручей журчит у горла и ярче зари снег...

Хищник не знает меры. Пятнадцать — двадцать зорь пылают на снегу, пятнадцать — двадцать оленей навечно припали к земле...

Но стадо оленье растет! А какой он, этот человек-оленеvod? Не из камня ли он вытесан, не из льда ли слеplен, не северными ли ветрами на свет рожден? Для меня это порою тайна...

Пока над моим письменным столом со стопкой ученических тетрадей светила электрическая лампочка, а от белой русской печи струилось мягкое тепло, жизнь казалась мне яснее дня. И не было сказок и тайн... И думал, что я знаю оленевода. А он оказался сложнее и непонятней...

Только в каслании, только в дороге открылись мне его настоящие черты: мужество, стойкость, доброта, стремление к красоте.

Снова и снова я вспоминаю нашу дорогу.

Олени бегут, бодают небо. А на рогах пляшут одни и те же светила, и не меняются зори. Таинственно кивают кедры да сияет снег, снег, снег... Едешь ночь — конца не видно, едешь месяц — конца не видно, едешь год — конца не видно. Только тишина и снег, снег, снег...

Человек — тайна. Человек — сказка. Человек — неспетая песня. Песня складывается в пути... Пойте, люди, свою песню! Выходите в дорогу!

СОДЕРЖАНИЕ

Тайга	3
Моя тетя	7
Первое утро	23
Полет оленей	32
Ночь на снегу	38
Хорошее волнение	51
Все росли в люльке	56
Волки	62
Самый большой оленевод	68
Лесная речка	72
Новый шаман	75
Будет ли Йикор человеком?	78
А тайн на земле так много	83
Сказка	87
Силька	92
Урок	107
Переправа	114
Красный чум	117
Не было вертолета — придумали вертолет	120
Памятный ужин	122
Важенки	127
Таежник открывает город	130
Май	143
Майская вьюга	147
Ай-Теранти	152
Ларкин ушел к геологам	159
Медвежий праздник	161
Последняя песня	185

ДЛЯ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Ю ван

(Шесталов Иван Николаевич)

НОЧЬ НА СНЕГУ

П о в е с т ь

Ответственный редактор
Г. И. Московская

Художественный редактор
С. К. Пушкина

Технический редактор
Т. В. Перцева

Корректоры

Л. И. Гусева и Л. М. Короткина

Сдано в набор 28/II 1966 г. Подписано
к печати 12/VII 1966 г. Формат 70×90¹/₃₂.—
6 печ. л. = 7,02 усл. печ. л. (5,64 уч.-
изд. л.). Тираж 50 000 экз. ТП 1966
№ 428. Цена 31 коп. на бум. м/мел.
Издательство «Детская литература». Москва,
М. Черкасский пер., 1.

Фабрика «Детская книга» № 2 Росглавпо-
лиграфпрома Комитета по печати при Совете
Министров РСФСР.

Ленинград, 2-я Советская, 7. Заказ № 760.

Издательство
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

в 1966 году выпускает для среднего и старшего возраста следующие книги, переведенные с языков народов СССР:

Кербабаев Б.

СЫН КАРЛИ ЧОКАНА

Повесть

Автор повести, известный туркменский писатель, рассказывает о трудной и необычной судьбе выдающегося актера, народного артиста СССР Алты Карлиева. Подростком уходит Алты из дому, скитается по аулам и городам, батрачит, потом оказывается беспризорным. . . И неизвестно, чем закончились бы его скитания, если бы Советская власть не вывела Алты к свету, к знаниям.

Перевод с туркменского

Сарсенбаев А.

СЫН КАПИТАНА

Повесть

Каспийским рыбакам-тюленебойцам их нелегкой, полной романтики жизни посвятил автор свою книгу. Главный герой повести — юноша Болатхан. После смерти отца заботы о многочисленной семье легли на плечи Болатхана. Юноша оставляет школу и уходит рыбачить в море. Читатель видит, как в борьбе с трудностями закаляются воля и характер Болатхана.

Перевод с казахского

Теунов Х.

ПРАВДИВАЯ ПОВЕСТЬ О МАЛЬЧИКЕ
ИЗ КОЖЕЖА

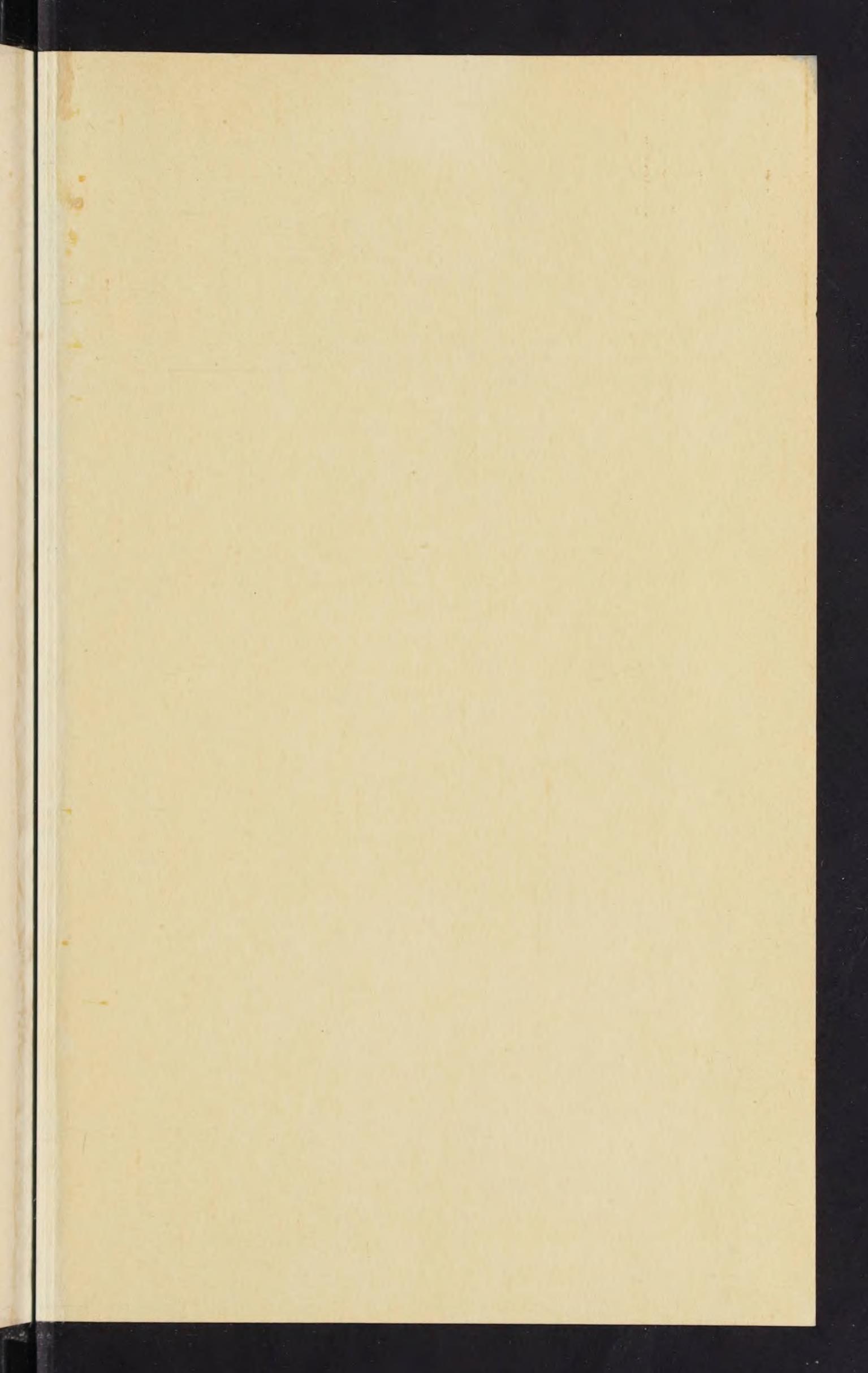
Повесть

Это история кабардинского мальчика Ахмеда, у которого на войне погиб отец. Друг отца, русский ученый-фольклорист Благодоров, помогает Ахмеду найти свой путь в жизни и стать продолжателем дела отца, собиравшего фольклор своего народа.

Перевод с кабардинского.

Книги эти по мере выхода их в свет можно приобрести в магазинах Книготорга и потребкооперации.

Книги высылаются наложенным платежом отделами «Книга — почтой» областных, краевых и республиканских книготоргов.





22



96642004
Окружная библиотека

РНФ

Государственная библиотека Югры